

# Часть IV. Петербург.

## Первая поездка за границу

### I. Поступление в университет.

#### Поправки к орографии и картографии Северной Азии

В начале осени 1867 года я и брат с семьей поселились в Петербурге. Я поступил в университет и сидел теперь на скамье вместе с юношами, почти мальчиками, гораздо моложе меня. Заветная мечта, которую я так долго лелеял, наконец осуществилась. Теперь я мог учиться. Я поступил на математическое отделение физико-математического факультета, так как считал, что основательное знание математики – единственный солидный фундамент для всякой дальнейшей работы. Брат поступил в военно-юридическую академию, я же совершенно отказался от военной службы, к великому неудовольствию отца, который не выносил даже вида штатского платья. Чтобы не окончательно огорчить отца, я перешел на гражданскую службу. Но служба эта была совершенно номинальная. Я «состоял» при Министерстве внутренних дел по статистическому комитету. Директором комитета был П. П. Семенов.

В Петербурге мы с братом зажили трудовой жизнью. Отец, который и в Сибирь почти ничего не высылал, обрадовался тому, что я ничего не просил у него, и он ничем не выразил своего желания помочь мне материально. Приходилось рассчитывать исключительно на литературный заработок. Я с Сашей стал переводить «Основы биологии» Спенсера, затем «Философию геологии» Пэджа. Я перевел также «Геометрию» Дистервега, а затем стал писать научные фельетоны в «Петербургских ведомостях» Керша.

Занятия в университете и научные труды поглотили все мое время в течение пяти следующих лет. У студента-математика, конечно, очень много работы, но так как я прежде уже занимался высшей математикой, то теперь мог уделить часть моего времени географии. Кроме того, в Сибири я не утратил способности усиленно работать.

Отчет о моей последней экспедиции печатался; но в это время у меня стали зарождаться географические обобщения, вскоре всецело захватившие меня. Путешествия по Сибири убедили меня, что горные цепи, как они значились тогда на картах, нанесены совершенно фантастически и не дают никакого представления о строении страны. Составители карт не

подозревали тогда даже существования обширных плоскогорий, составляющих столь характерную черту Азии. Вместо них обозначали несколько больших горных кряжей. Так, например, в чертежных, несмотря на указание Л. Шварца, сочинили восточную часть Станового хребта в виде громадного червя, ползущего по карте на восток. Этого хребта в действительности не существует. Истоки рек, текущих с одной стороны в Ледовитый океан, а с другой – в Великий океан, переплетаются на том же плоскогорье и зарождаются в одних и тех же болотах. Но в воображении европейских топографов самые высокие хребты должны находиться на главных водоразделах, и вследствие этого тут изображали высокие цепи гор, которых нет в действительности. Много таких несуществующих хребтов бороздило карту Северной Азии по всем направлениям.

Мое внимание теперь в продолжение нескольких лет было поглощено одним вопросом – открыть руководящие черты строения нагорной Азии и основные законы расположения ее хребтов и плоскогорий. Долгое время меня путали в моих изысканиях прежние карты, а еще больше – обобщения Александра Гумбольдта, который после продолжительного изучения китайских источников покрыл Азию сетью хребтов, идущих по меридианам и параллельным кругам. Но наконец я убедился, что даже смелые обобщения Гумбольдта не согласны с действительностью.

Я начал сначала чисто индуктивным путем. Собравши все барометрические наблюдения, сделанные прежними путешественниками, я на основании их вычислил сотни высот. Затем я нанес на большую карту Шварца все геологические и физические наблюдения путешественников, отмечая факты, а не гипотезы. На основании этого материала я попытался выяснить, какое расположение хребтов и плоскогорий наиболее согласуется с установленными фактами. Эта подготовительная работа заняла у меня более двух лет. Затем последовали месяцы упорной мысли, чтобы разобраться в хаосе отдельных наблюдений. Наконец все разом внезапно осветилось и стало ясно и понятно. Основные хребты Азии тянутся не с севера на юг и не с запада на восток, а с юго-запада на северо-восток, точно так же, как Скалистые горы и нагорья Северной Америки тянутся с северо-запада к юго-востоку. Одни только второстепенные хребты убегают на северо-запад. Далее, горы Азии отнюдь не ряды самостоятельных хребтов, как Альпы, но окаймляют громадное плоскогорье – бывший материк, который направлялся когда-то от Гималаев к Берингову проливу. Высокие окраинные хребты выросли вдоль его берегов, и с течением времени террасы, образованные позднейшими осадками, поднимались из моря, увеличивая основной материк Азии в ширину.

В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение целого ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина подобно альпийской цепи, выступающей во всем своем великолепии из-за скрывающих ее облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всем величии и красоте. А когда обобщение подвергается проверке, применяя его ко множеству отдельных фактов, казавшихся до того безнадежно противоречивыми, каждый из них сразу занимает свое положение и только усиливает

впечатление, производимое общей картиной. Одни факты оттеняют некоторые характерные черты, другие раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется. А дальше, сквозь туманную дымку, окутывающую горизонт, глаз открывает очертание новых и еще более широких обобщений.

Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех.

Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку. Вначале я намеревался написать объемистую книгу, в которой мои взгляды на орографию Сибири подтверждались бы подробным разбором каждого отдельного хребта, но когда в 1873 году я увидел, что меня скоро арестуют, я ограничился тем, что составил карту, содержащую мои взгляды, и приложил объяснительный очерк. И карта, и очерк были изданы Географическим обществом под наблюдением брата, когда я уже сидел в Петропавловской крепости. Петерман, составлявший тогда свою карту Азии и знавший мои предварительные работы, принял мою схему для атласа Штиллера и своего карманного маленького атласа, где орография так превосходно была выражена гравюрою на стали. Впоследствии ее приняло большинство картографов.

Карта Азии, как она составляется теперь, я думаю, объясняет главные физические черты громадную материка, распределение климатов, фауны, флоры, а также и историю его. Она показывает также, как я мог убедиться во время моего путешествия в Америку, поразительную аналогию в структуре и в геологическом росте обоих материков северного полушария[14].

## II. Русское географическое общество.

### Русские путешественники того времени: Северцов, Миклуха-Маклай, Федченко, Пржевальский. Проект полярной экспедиции. Геологические исследования в Финляндии

В то же время, как секретарь отделения физической географии я много работал для Географического общества. Тогда сильно интересовались исследованиями Туркестана и Памира. Северцов только что возвратился из путешествия, продолжавшегося несколько лет. Он был выдающийся зоолог, талантливый географ и один из самых умных людей, которых я

когда-либо встречал, но, как многие русские, Северцов не любил писать. Когда он делал доклад, его невозможно было убедить написать что-нибудь, кроме коротенького отчета. И вот почему все, что появилось в печати за подписью Северцова, далеко не исчерпывает всех его наблюдений и обобщений. К сожалению, крайняя неохота – излагать письменно свои мысли и наблюдения очень распространена в России. Те замечания, которые при мне делал Северцов об орографии Туркестана, географическом распределении растений и животных, роли ублюдков (гибридов) в зарождении новых видов птиц, а также его наблюдения относительно важности взаимной поддержки в прогрессивном развитии видов (эти наблюдения упоминаются в нескольких строках в отчете заседания), – все свидетельствует о недюжинном таланте и об оригинальности. Но Северцов не обладал даром письменно излагать свои мысли в соответственно красивой форме, который делал бы его одним из наиболее выдающихся ученых нашего времени.

Миклуха-Маклай, хорошо известный в Австралии, ставшей потом его второй родиной, тоже принадлежал к той же категории людей, которые могли бы сказать гораздо больше, чем высказали в печати. Он был маленький, нервный человек, постоянно страдавший лихорадкой. Когда я познакомился с ним, он только что возвратился с берегов Красного моря, где, как последователь Геккеля, много работал над изучением морских беспозвоночных в их естественной среде. Географическому обществу потом удалось выхлопотать, чтобы русский клипер отвез Миклуху-Маклая на неизвестный берег Новой Гвинеи, где путешественник хотел изучать дикарей самой низкой культуры. С одним лишь матросом его оставили, выстроив близ туземной деревни хижину для обоих робинзонов на негостеприимном берегу, население которого слыло страшными людоедами. Здесь они вдвоем прожили полтора года в самых дружественных отношениях с туземцами. Миклуха-Маклай поставил себе правилом, которому неуклонно следовал, быть всегда прямым с дикарями и никогда их не обманывать даже в мелочах, даже для научных целей. Когда он впоследствии путешествовал по Малайскому архипелагу, к нему на службу поступил туземец, выговоривший, чтобы его никогда не фотографировали: как известно, дикари считают, что вместе с фотографией берется некоторая часть их самих. И вот однажды, когда дикарь крепко спал, Маклаю, собиравшему антропологические материалы, страшно захотелось сфотографировать своего слугу, так как он мог служить типичным представителем своего племени. Дикарь, конечно, никогда бы не узнал про фотографию, но Маклай вспомнил свой уговор и устоял перед искушением. Эта мелкая черта вполне характеризует его. Зато, когда он оставлял Новую Гвинею, дикари взяли с него обещание возвратиться. И он выполнил его через несколько лет, хотя был тогда сильно болен. Этот замечательный человек напечатал, однако, лишь самую незначительную часть своих поистине драгоценных наблюдений.

Федченко, который сделал многочисленные зоологические наблюдения в Туркестане вместе со своей женой Ольгой Федченко, тоже естествоиспытательницей, мы называли «европейцем». Он с увлечением трудился над разработкой своих наблюдений; но, к несчастью, он погиб в Швейцарии во время восхождения на Монблан. пылая юношеским жаром после путешествия по горам Туркестана и полный уверенности в свои силы, Федченко предпринял восхождение на Монблан без подходящих проводников и погиб во время метели. К счастью, его жена закончила издание его «Путешествия». Если не ошибаюсь, их сын также продолжает работы своих родителей.

Был я также хорошо знаком с Пржевальским или, точнее, Пшевальским, как следовало бы произносить это польское имя, хотя сам он любил выставлять себя «настоящим русаком». Он был страстным охотником. Энтузиазм, который он проявил при исследовании Центральной Азии, был почти в такой же мере результатом его страсти к охоте на всевозможную редкую и крупную дичь: гуранов, диких верблюдов и лошадей, как и желания посетить новые, неизвестные еще земли. Когда его убеждали рассказать что-нибудь о всех путешествиях, он скоро прерывал свой скромный рассказ восторженным восклицанием: «А что за дичь там! Какая охота!» И он принимался с энтузиазмом рассказывать, как прополз такое-то расстояние, чтобы подобраться на выстрел к кулану. В нем сошлись географ-исследователь, зоолог и охотник.

Едва только он возвращался в Петербург, как уже начинал строить план новой экспедиции и бережно копил для нее деньги, пробуя даже увеличить свои сбережения биржевыми спекуляциями. По крепкому здоровью и по способности выносить годами суровую жизнь горного охотника Пржевальский был идеальным путешественником. Такая жизнь была ему по душе. Первое свое знаменитое путешествие он сделал в сопровождении всего троих товарищей, и в ту пору он постоянно был в самых лучших отношениях с туземцами. Но когда впоследствии его экспедиции стали принимать более военный характер, Пржевальский, к несчастью, стал больше полагаться на силу своего вооруженного конвоя, чем на миролюбивые сношения с туземцами. Я слышал от хорошо осведомленных людей, что, если бы он не умер в начале тибетской экспедиции, так прекрасно и так мирно законченной его спутниками Певцовым, Роборовским и Козловым, он, вероятно, все равно не вернулся бы из нее живым.

В то время в Географическом обществе было большое оживление, и наше отделение, а следовательно, и секретарь его были заинтересованы разными вопросами. Большинство из них было слишком специального характера, чтобы здесь упоминать о них, но не мешает напомнить пробуждение интереса к плаванию и рыбным промыслам в русской части Ледовитого океана. Сибирский купец и золотопромышленник Сидоров в особенности старался пробудить этот интерес. Он доказывал, что при небольшой правительственной помощи, например устройством мореходных классов и несколькими экспедициями, можно было бы сильно подвинуть исследование берегов Белого моря, а также поддержать рыбные промыслы и мореплавание. Но, к несчастью, эта небольшая поддержка должна была получиться из Петербурга. А стоящих у власти в этом придворном, чиновничьем, литературном, артистическом и космополитическом городе трудно заинтересовать чем бы то ни было «провинциальным». Бедного Сидорова просто поднимали на смех. Интерес к нашему Северу был пробужден в Географическом обществе из-за границы.

В 1869–1871 годах смелые норвежские китобои совершенно неожиданно доказали, что плаванье в Карском море возможно. К великому нашему изумлению, мы узнали, что в «ледник, постоянно набитый льдом», как мы с уверенностью называли Карское море, вошли небольшие норвежские шкуны и избороздили его по всем направлениям. Предприимчивые норманны посетили даже место зимовки знаменитого голландца Баренца, которое, как мы полагали, навсегда скрыто от людей ледяными полями, насчитывающими не одну сотню лет. Наши ученые моряки решили, что такие неожиданные успехи норвежцев объяснялись исключительно теплым летом и исключительным состоянием льда. Но для немногих из нас

было совершенно очевидно, что смелые норвежские китобои, чувствуя себя среди льдов, как дома, дерзнули пробраться со своими небольшими экипажами и на своих небольших судах через плавучие льды, загромаждающие вход в Карские ворота, тогда как командиры военных кораблей, скованные ответственностью морской службы, никогда не рискнули этого сделать.

Открытия норвежцев пробудили интерес к арктическим исследованиям. В сущности эти промышленники возбудили тот энтузиазм к полярным путешествиям, который привел к открытию Норденшильдом северо-восточного прохода, к исследованиям Пири в Северной Гренландии и к нансеновской экспедиции на «Фраме». Зашевелилось также и наше Географическое общество. Назначена была комиссия, чтобы выработать план русской полярной экспедиции и наметить те научные работы, которые такая экспедиция могла бы выполнить. Я был избран секретарем этой комиссии. Специалисты взялись составлять каждый свою часть этого доклада.

Но, как это часто случается, к сроку готово было только несколько отделов: по ботанике, зоологии и метеорологии. Все остальное пришлось составить секретарю комитета, то есть мне. Некоторые вопросы, как, например, зоология морских животных, приливы, наблюдения над маятником, земной магнетизм, были для меня совершенно новы. Но трудно себе представить, какое количество работы может выполнить в короткое время здоровый человек, если напряжет все свои силы и прямо пойдет к корню каждого вопроса. Я засел за работу и просидел над нею, выходя только обедать, две с половиной недели. Я спал часов пять в сутки и поддерживал бодрость сперва чаем, а потом красным вином, которое я пил маленькими глотками по ночам, чтобы не заснуть за столом. Мой доклад был готов к сроку и содержал программу предстоящих ученых работ. Он заканчивался предложением большой полярной экспедиции, которая пробудила бы в России постоянный интерес к арктическим вопросам и к плаванию в северных морях, но в то же время мы рекомендовали разведочную экспедицию, которая направилась бы на норвежской шкуне, под командой норвежского капитана, на север или же на северо-восток от Новой Земли. Эта экспедиция могла бы, указывая я, сделать также попытку добраться до большой неизвестной земли, которая должна находиться не в далеком расстоянии от Новой Земли. Возможное существование такого архипелага указал в своем превосходном, но малоизвестном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг. Когда я прочитал этот доклад, а также путешествие Лютке на Новую Землю и познакомился с общими условиями этой части Ледовитого океана, то мне стало ясно, что к северу от Новой Земли действительно должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген. На это указывали неподвижное состояние льда на северо-запад от Новой Земли, камни и грязь, находимые на плавающих здесь ледяных полях, и некоторые другие мелкие признаки. Кроме того, если бы такая земля не существовала, то холодное течение, несущееся на запад, от меридиана Берингова пролива к Гренландии (то самое, в котором дрейфовал «Фрам» – на него указывал уже Ломоносов), непременно достигло бы Норд-Капа и покрывало бы берега Лапландии льдом точно так, как это мы видим на крайнем севере Гренландии. Теплое течение, являющееся слабым продолжением Гольфстрима, не могло бы помешать нагромождению льдов у северных берегов Европы, если бы такой земли не существовало. Этот архипелаг, как известно, был открыт два года спустя австрийской экспедицией и назван Землей Франца-Иосифа.

Доклад по поводу полярной экспедиции имел для меня совершенно неожиданные последствия. Я сразу попал в арктические авторитеты. Мне предложили стать во главе разведочной экспедиции, для которой будет специально нанята норвежская шкуна. Я заметил, конечно, что никогда не бывал в море, но мне возразили, что если сочетать опытность норвежца Карльсэна или Иогансэна с почином человека науки, то наверное можно получить очень ценные результаты. И я принял бы предложение, если бы Министерство финансов не наложило на предприятие своего вето, ответив, что министр финансов не может ассигновать необходимых для экспедиции тридцати или сорока тысяч рублей. С того времени русские не принимали никакого участия в исследовании полярных морей. Земля, которую мы провидели сквозь полярную мглу, была открыта Пайером и Вейпрехтом, а архипелаг, который должен находиться на северо-восток от Новой Земли (я в этом убежден теперь еще больше, чем тогда), так еще не найден[15].

Вместо полярного путешествия Географическое общество предложило мне скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений, и это путешествие направило меня на совершенно новую дорогу.

Летом того года Академия наук командировала двух своих членов – старого геолога генерала Г. П. Гельмерсена и неутомимого исследователя Сибири Фридриха Шмидта – изучить строение длинных наносных гряд, которые в Финляндии и Швеции известны под названием «озов», а в Англии называются *eskers*, *kames* и т. п. С той же целью Географическое общество послало меня в Финляндию. Мы посетили втроем великолепную гряду Пунгахарью и затем разделились. Я много работал в то лето, объездил значительную часть Финляндии и переправился в Швецию, где изучал Упсальский «оз» и провел в Стокгольме несколько счастливых дней вместе с Норденшильдом. Уже тогда, в 1871 году, он сообщал мне свое намерение добраться до устьев сибирских рек, а не то и до Берингова пролива, через Ледовитый океан. Возвратившись в Финляндию, я продолжал мои исследования до глубокой осени и собрал массу в высшей степени интересных наблюдений относительно оледенения края. Но во время этого путешествия я думал также очень много о социальных вопросах, и эти мысли имели решающее влияние на мое последующее развитие.

В Географическом обществе через мои руки проходили всевозможные ценные материалы относительно географии России. Мало-помалу у меня начала складываться мысль написать пространную физическую географию этой громадной части света, уделяя при этом видное место экономическим явлениям. Я намеревался дать полное географическое описание всей России, основывая его на строении поверхности – орографии, характер которой я начинал себе уяснять после сделанной мною работы о строении Сибири. И я хотел очертить в этом описании различные формы хозяйственной жизни, которые должны господствовать в различных физических областях. Много вопросов, насущных для русского народа, можно было бы выяснить такою работою. Возьмите, например, громадные южнорусские степи, так часто страдающие от засухи и неурожая. Последние нельзя считать случайным бедствием, они являются такою же естественной чертой данного округа, как и его положение на южном скате средней возвышенности или как его плодородие. Засухи, от которых так страдает юг России, вовсе не случайны: эти засухи нужно раз навсегда признать за такую же особенность черноземной полосы, как и ее географическое положение и ее плодородие.

Поэтому надо выработать способы обеспечения населения хлебом в засушливые годы, а также нужно выработать способы борьбы с засухой, какие укажет современная наука. Вся хозяйственная жизнь Южной России должна быть поэтому построена на предусмотрении неизбежных повторении периодических недородов. Каждую область России следовало бы описать так же научно, как Азия была описана в великолепном труде Риттера.

Но для такой работы нужна была масса времени и полная свобода, и я часто думал, как споро пошло бы дело, если бы меня выбрали со временем секретарем Географического общества. И вот осенью 1871 года, когда я работал в Финляндии и медленно подвигался пешком к Финскому заливу вдоль строившейся железной дороги, высматривая, где появятся первые неоспоримые следы послеледникового моря, я получил телеграмму от Географического общества: «Совет просит вас принять должность секретаря Общества». В то же время выходящий в отставку секретарь барон Остен-Сакен убедительно просил меня не отказываться.

Мое желание таким образом осуществлялось. Но в эту пору другие мысли и другие стремления уже овладели мною, и, серьезно обдумав мое решение, я телеграфировал в ответ: «Душевно благодарю, но должность принять не могу».

### III. Цель жизни. Отказ от предложения занять место секретаря Географического общества

Часто случается, что люди тянут ту или другую политическую, социальную или семейную лямку только потому, что им некогда разобраться, некогда спросить себя: так ли устроилась их жизнь, как нужно? Соответствует ли их занятие их склонности и способности и дает ли оно им нравственное удовлетворение, которое каждый вправе ожидать в жизни?

Деятельные люди всего чаще оказываются в таком положении. Каждый день приносит с собою новую работу, и ее накапливается столько, что человек поздно ложится, не выполнив всего, что собирался сделать за день, а утром поспешно хватается за дело, недоконченное вчера. Жизнь проходит, и нет времени подумать, что некогда обсудить ее склад. То же самое случилось и со мной.

Но теперь, во время путешествия по Финляндии, у меня был досуг. Когда я проезжал в финской одноколке по равнине, не представлявшей интереса для геолога, или когда переходил с молотком на плечах от одной балластной ямы к другой, я мог думать, и одна мысль все более и более властно захватывала меня гораздо сильнее геологии.

Я видел, какое громадное количество труда затрачивает финский крестьянин, чтобы расчистить поле и раздробить валуны, и думал: «Хорошо, я напишу физическую географию этой части России и укажу лучшие способы обработки земли. Вот здесь американская машина для корчевания пней принесла бы громадную пользу. А там наука могла бы указать

новый способ удобрения...

Но что за польза толковать крестьянину об американских машинах, когда у него едва хватает хлеба, чтобы перебиться от одной жатвы до другой; когда арендная плата за эту усеянную валунами землю растет с каждым годом по мере того, что крестьянин улучшает почву! Он грызет свою твердую как камень ржаную лепешку, которую печет дважды в год, съедает с нею кусок невероятно соленой трески и запивает снятым молоком... Как смею я говорить ему об американских машинах, когда на аренду и подати уходит весь его заработок! Крестьянину нужно, чтобы я жил с ним, чтобы я помог ему сделаться собственником или вольным пользователем земли. Тогда он и книгу прочтет с пользой, но не теперь».

И мысленно я переносился из Финляндии к нашим Никольским крестьянам, которых видел недавно. Теперь они свободны и высоко ценят волю, но у них нет покосов. Тем или иным путем помещики захватили все луга для себя. Когда я был мальчиком, Савохины посылали в ночное шесть лошадей, Толмачевы – семь. Теперь у них только по три лошади. У кого было прежде по три, теперь и двух нет, а иные бедняки остались с одной. Какое же хозяйство можно вести с одной жалкой клячонкой! Нет покосов, нет скота и нет навоза! Как же тут толковать крестьянам про травосеяние! Они уже разорены, а еще через несколько лет их разорят вконец, выколачивая чрезмерные подати. Как обрадовались они, когда я сказал, что отец разрешает им обкосить полянки в Костином лесу! «Ваши никольские мужики люты на работу», – говорили все наши соседи. Но пашни, которые мачеха оттягала у них в силу «закона о минимуме помещичьей земли» (дьявольский параграф, внесенный крепостниками, когда им позволили пересмотреть Уложение), теперь поросли чертополохом и бурьяном. Лютым работникам не позволяют пахать эти земли. И то же самое творится по всей России. Уже в то время было очевидно, что первый серьезный неурожай в центральной России приведет к страшному голоду. О том же предупреждали и правительственные комиссии (валуевская в том числе). И действительно, голод был в 1876, 1889, 1891, 1895 и 1898 годах.

Наука – великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня зарождались новые, величественные обобщения. Я видел, как в отдаленном прошлом, на заре человечества, в северных архипелагах, на Скандинавском полуострове и в Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю Северную Европу и медленно расползлись до ее центра. Жизнь тогда исчезла в этой части северного полушария и, жалкая, неверная, отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханьем громадных ледяных масс. Несчастный, слабый, темный дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таяние льдов, и наступил озерный период. Бесчисленные озера образовались тогда во впадинах; жалкая субполярная растительность начала робко показываться на безбрежных болотах, окружавших каждое озеро, и прошли еще тысячелетия, прежде чем началось крайне медленное высыхание болот и растительность стала надвигаться с юга. Теперь мы в периоде быстрого высыхания, сопровождаемого образованием степей, и человеку нужно найти способ, каким образом остановить это угрожающее Юго-Восточной Европе высыхание, жертвой которого уже пала Центральная Азия.

В это время вера в ледяной покров, достигавший до Центральной Европы, считалась непозволительной ересью, но перед моими глазами возникала величественная картина, и мне хотелось передать ее в мельчайших подробностях, как я ее представлял себе. Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии.

Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка.

Знание – могучая сила. Человек должен овладеть им. Но мы и теперь уже знаем много. Что, если бы это знание, только это стало достоянием всех? Разве сама наука тогда не подвинулась бы быстро вперед? Сколько новых изобретений сделает тогда человечество и насколько увеличит оно тогда производительность общественного труда! Грандиозность этого движения вперед мы даже теперь уже можем предвидеть.

Массы хотят знать. Они хотят учиться; они могут учиться. Вон там, на гребне громадной морены, тянущейся между озерами, как будто бы великаны насыпали ее поспешно, чтобы соединить два берега, стоит финский крестьянин, он погружен в созерцание расстилающихся перед ним прекрасных вод, усеянных островами. Ни один из этих крестьян, как бы забит и беден он ни был, не проедет мимо этого места, не остановившись, не залюбовавшись. Или вон там на берегу озера стоит другой крестьянин и поет что-то до того прекрасное, что лучший музыкант позавидовал бы чувству и выразительности его мелодий. Оба чувствуют, оба созерцают, оба думают. Они готовы расширить свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средства завоевать себе досуг.

Вот в каком направлении мне следует работать, и вот те люди, для которых я должен работать. Все эти звонкие слова насчет прогресса, произносимые в то время, как сами делатели прогресса держатся в сторонке от народа, все эти громкие фразы – одни софизмы. Их придумали, чтобы отделаться от разъедающего противоречия... И я послал мой отказ Географическому обществу.

## IV. Положение в Петербурге.

### Двойственность натуры Александра II.

### Продажность администрации.

### Препятствия распространению

# народного образования

Петербург сильно изменился с 1862 года, когда я оставил его.

– О да! – говорил мне как-то поэт Аполлон Майков. – Вы знали Петербург Чернышевского.

Да, действительно, я знал тот Петербург, чьим любимцем был Чернышевский. Но как же мне назвать город, который я нашел по возвращении из Сибири? Быть может, Петербургом кафешантанов и танцклассов, если только название «весь Петербург» может быть применено к высшим кругам общества, которым тон задавал двор.

При дворе и в придворных кружках либеральные идеи были на плохом счету. После выстрела Каракозова 4 апреля 1866 года правительство окончательно порвало с реформами, и реакционеры всюду брали верх. На всех выдающихся людей шестидесятых годов, даже и на таких умеренных, как граф Николай Муравьев и Николай Милютин, смотрели как на неблагонадежных. Александр II удержал лишь военного министра Дмитрия Милютина, да и только потому, что на осуществление начатого им преобразования армии требовалось еще много лет. Всех остальных деятелей реформенного периода выбросили за борт.

Раз как-то я беседовал с бароном Ф. Р. Остен-Сакеном, занимавшим видный пост в Министерстве иностранных дел. Он резко критиковал деятельность другого сановника, и я заметил в защиту, что последний никогда, однако, не захотел принять никакого места на службе при Николае I.

– А теперь он служит при Шувалове и Трепове! – воскликнул мой собеседник. Замечание так верно передавало истинное положение дел, что мне оставалось только замолчать.

Действительно, настоящими правителями России были тогда шеф жандармов Шувалов и петербургский обер-полицеймейстер Трепов. Александр II выполнял их волю, был их орудием. Правили же они страхом. Трепов до того напугал Александра II призраками революции, которая вот-вот разразится в Петербурге, что, если всесильный обер-полицеймейстер опаздывал во дворец на несколько минут с ежедневным докладом, император справлялся: «Все ли спокойно в Петербурге?»

Вскоре после того как Александр II дал «чистую отставку» княжне Долгорукой, он очень подружился с генералом Флери, адъютантом Наполеона III, этой гадиной, бывшей душой государственного переворота 2 декабря 1851 года. Их постоянно можно было видеть вместе. Флери раз уведомил даже парижан про великую честь, оказанную ему русским царем. Последний, едучи по Невскому в своей эгоистке (пролетке с крошечным сиденьем для одного: они тогда были в моде), увидал Флери, шедшего пешком, и позвал его в свой экипаж. Французский генерал подробно описал в газетах, как царь и он, крепко обнявшись, сидели на узком сиденье, наполовину на весу. Достаточно назвать этого нового закадычного приятеля, на челе которого еще не завяли лавры Компьени, чтобы понять, что означала эта дружба.

Шувалов широко пользовался настроением своего повелителя и вырабатывал одну реакционную меру за другой. Если же Александр II не соглашался подписать их, Шувалов принимался говорить о приближающейся революции, о судьбе Людовика XVI и «ради спасения династии» умолял царя ввести новые репрессии. При всем том угрызения совести и подавленное состояние духа часто овладевали Александром II. Он впадал тогда в мрачную меланхолию и уныло говорил о блестящем начале своего царствования и о реакционном характере, которое оно теперь принимает. Тогда Шувалов устраивал медвежью охоту. В новгородские леса отправлялись охотники, придворные, партии балетных танцовщиц. Александр II, который был хорошим стрелком и подпускал зверя на несколько шагов, укладывал двух-трех медведей. И среди возбуждения охотничьих празднеств Шувалову удавалось получить от своего повелителя санкцию какой угодно реакционной меры, сочиненной им, или же утверждения любого грандиозного грабежа, намеченного клиентами графа.

Александр II, конечно, не был заурядной личностью; но в нем жили два совершенно различных человека, с резко выраженными индивидуальностями, постоянно боровшимися друг с другом. И эта борьба становилась тем сильнее, чем более старился Александр II. Он мог быть обаятелен и немедленно же выказать себя грубым зверем. Перед лицом настоящей опасности Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, а между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трусом и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручному. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор (я слышал этот рассказ от самого медвежатника). И тем не менее Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и беспокойной совестью. Он был очень мягок с друзьями; между тем эта мягкость уживалась в нем рядом со страшной, равнодушной жестокостью, достойной XVII века, которую он проявил при подавлении польского мятежа и впоследствии, в 1880 году, когда такие же жесткие меры были приняты для усмирения восстания русской молодежи, причем никто не считал бы его способным на такую жестокость. Таким образом, Александр II жил двойной жизнью, и в тот период, о котором я говорю, он подписывал самые реакционные указы, а потом приходил в отчаяние по поводу их. К концу жизни эта внутренняя борьба, как мы увидим дальше, стала еще сильнее и приняла почти трагический характер.

В 1877 году Шувалова назначили посланником в Англию; но его друг генерал Потапов продолжал ту же политику вплоть до Турецкой войны. За это время шел в широчайших размерах самый бессовестный грабеж казны и расхищались государственные и башкирские земли, а также и имения, конфискованные после восстания 1863 года в Литве. Впоследствии, когда Потапов сошел с ума, а Трепов был удален в отставку, их придворные враги захотели показать Александру II этих героев в истинном свете, и некоторые их подвиги выплыли на свет, когда по знаменитому логишинскому делу креатура Потапова – минский губернатор тайный советник Токарев и их заступник в Министерстве внутренних дел палач крестьян генерал Лошкарев – были отданы под суд. Тогда обнаружилось, как «обруситель» Токарев при помощи своего приятеля Потапова бесстыдно ограбил логишинских крестьян и отнял их землю. Пользуясь высоким покровительством в

Министерстве внутренних дел, он устроил так, что крестьян, искавших суда, арестовывали, пороли поголовно и нескольких перестреляли. Это одно из самых возмутительных дел даже в русских летописях, чреватых грабежами всякого рода. Лишь после выстрела Веры Засулич, мстившей за наказание розгами политического заключенного, выяснилось воровство потаповской шайки, и министра удалили в отставку. Трепов же, думая, что ему приходится умирать, составил завещание, причем оказалось, что генерал, беспрерывно твердивший царю, что беден, хотя занимает прибыльный пост обер-полицеймейстера, оставил своему сыну значительное состояние. Некоторые придворные донесли об этом Александру II, который потерял доверие к генералу и расстался с ним. Тогда-то выплыли некоторые грабежи, совершенные шайкою Шувалова, Потапова, Трепова и К°. Но перед сенатом логишинское дело разбиралось только в декабре 1881 года «при открытых дверях».

Повсеместно в министерствах, а в особенности при постройке железных дорог и при всякого рода подрядах грабеж шел на большую ногу. Таким путем составлялись колоссальные состояния. Флот, как сказал сам Александр II одному из своих сыновей, находился «в карманах такого-то». Постройка гарантированных правительством железных дорог обходилась баснословно дорого. Всем было известно, что невозможно добиться утверждения акционерного предприятия, если различным чиновникам в различных министерствах не будет обещан известный процент с дивиденда. Один мой знакомый захотел основать в Петербурге одно коммерческое предприятие и обратился за разрешением куда следовало. Ему прямо сказали в Министерстве внутренних дел, что 25 % чистой прибыли нужно дать одному чиновнику этого министерства, 15 % – одному служащему в Министерстве финансов, 10 % – другому чиновнику того же министерства и 5 % – еще одному. Такого рода сделки совершались открыто, и Александр II отлично знал про них. О том свидетельствуют его собственноручные заметки на полях докладов государственного контролера (они напечатаны были за несколько лет в Берлине). Но царь видел в этих ворах своих защитников от революции и держал их, покуда их грабежи не становились слишком уж гласны.

Все молодые князья, кроме Александра Александровича, который всегда был большой скопидом и хороший отец семейства, следовали примеру главы дома. Оргии, которые устраивал один из них, Владимир, в ресторане на Невском, были до того отвратительны и до того известны, что раз ночью обер-полицеймейстер должен был вмешаться. Хозяину пригрозил Сибирью, если он еще раз сдаст великому князю «его специальный кабинет». «Мое-то положение какво! – жаловался ресторатор, показывая мне «великокняжеский кабинет», стены и потолок которого были покрыты толстыми атласными подушками. – С одной стороны, как отказать члену императорской фамилии, который может меня скрутить в бараний рог, а с другой – Трепов грозит Сибирью! Конечно, я послушался генерала. Вы знаете, он всесилен теперь». Другой великий князь, Сергей Александрович, прославился пороками, относящимися к области психопатологии. Третьего сослали в Ташкент за кражу брильянтов у матери, великой княгини Александры Иосифовны.

Императрица Мария Александровна, оставленная мужем и, по всей вероятности, приведенная в ужас от его оргий и безобразий при дворе, все больше и больше становилась святошей и вскоре всецело находилась в руках придворного священника, представителя совершенно новой формации русской церкви – иезуитской. Это новая, гладко причесанная,

развратная и иезуитская порода поповства в то время быстро шла в гору, и они усиленно и успешно работали, чтобы стать государственной силой и забрать в свои руки школы.

Много раз было доказано в России, что сельское духовенство так занято требами, что не может уделять времени народным школам. Даже тогда, когда священник получает вознаграждение за преподавание закона божьего в деревенской школе, он обыкновенно поручает уроки кому-нибудь другому, так как у него нет времени. Тем не менее высшее духовенство, пользуясь ненавистью Александра II к так называемому революционному духу, начало поход с целью забрать в руки школы. Лозунгом духовенства стало: «Или приходская школа, или никакой». Вся Россия жаждала образования; но даже включавшаяся в государственный бюджет до смешного ничтожная сумма в пять-шесть миллионов рублей на начальное образование и та не расходовалась вся Министерством народного просвещения, которое ежегодно возвращало в казначейство почтенный остаток. В то же время почти такая же сумма отпускалась ежегодно синоду как пособие приходским школам, которые тогда, так же как и позже, существовали только на бумаге.

Вся Россия желала реальных школ; но министерство открывало только классические гимназии, так как полагалось, что громадные курсы древних языков не дадут ученикам времени думать и читать. В этих гимназиях лишь две сотых учеников, поступавших в первый класс, успешно добивались до аттестата зрелости. Все мальчики, подававшие надежды или проявлявшие какую-нибудь независимость характера, тщательно замечались, и их удаляли раньше восьмого класса. При этом приняты были также меры, чтобы уменьшить число учеников. Образование признано было роскошью, пригодной лишь для немногих. В то же время Министерство народного просвещения занялось усиленной и ожесточенной борьбой и с частными лицами, земствами и городскими управами, пытавшимися открывать учительские семинарии, технические, а то даже и начальные школы. На техническое образование – в стране, нуждавшейся в инженерах, ученых агрономах и геологах, – смотрели как на нечто революционное. Оно преследовалось, запрещалось. Ежегодно несколько тысяч молодых людей не попадали в высшие технические учебные заведения по недостатку вакансий. Чувство отчаяния овладевало всеми теми, которые хотели принести какую-нибудь пользу обществу. А в это время непосильные подати и выколачивание недоимок полицейскими властями разоряли навсегда крестьян. В столице в милости были лишь те губернаторы, которые особенно беспощадно выколачивали недоимки.

Таков был официальный Петербург. Таково было его влияние на всю Россию.

## V. Перемены к худшему в петербургском обществе. Результаты реакции. Покушение Каракозова. Пытали ли Каракозова? Трагическая

# борьба молодежи

Перед отъездом из Сибири мы часто беседовали с братом о той умственной жизни, которую найдем в Петербурге, и о предстоящих интересных знакомствах в литературных кружках. Действительно, мы завязали такие знакомства как среди радикалов (кружок «Отечественных записок»), так и умеренных славянофилов; но надо сознаться, что мы несколько были разочарованы. Встретили мы массу прекрасных людей (в России их везде много), но они вовсе не соответствовали нашему идеалу политических писателей. Лучшие литераторы – Чернышевский, Михайлов, Лавров – были в ссылке или, как Писарев, сидели в Петропавловской крепости. Другие, мрачно смотревшие на действительность, изменили свои убеждения и теперь тяготели к своего рода отеческому самодержавию. Большинство же хотя и сохранило еще свои взгляды, но стало до такой степени осторожным в выражении их, что эта осторожность почти равнялась измене.

Когда реформационное течение царило в России, почти все писатели, принадлежавшие к передовым кружкам, были так или иначе в сношениях с Герценом, Тургеневым и их друзьями или даже с тайными обществами «Великоросс» и «Земля и воля», имевшими тогда кратковременное существование. Теперь эти люди заботились лишь о том, чтобы спрятать поглубже свои прежние симпатии и казаться вполне «благонадежными» в политике.

Известно, как Некрасов отнесся к Муравьеву, когда его назначили начальником следственной комиссии по каракозовскому делу. Некрасов был больше всех скомпрометирован своими сношениями в шестидесятые годы, он больше всех и старался заслужить раскаянием перед палачом Муравьевым.

Два-три журнала, которые терпело начальство, главным образом благодаря необыкновенной дипломатической ловкости их издателей, помещали богатый бытовой материал, наглядно доказывавший, что нищета и разоренность большинства крестьян постепенно растут из года в год. В этих же журналах достаточно прозрачно говорилось и о тех препятствиях, которые ставились всякому прогрессивному деятелю, в какой бы области он ни пытался приложить свои силы. Фактов в подтверждение приводилось столько, что они могли бы всякого привести в отчаянье. «Отечественные записки», например, печатали много интересного материала, касавшегося народной крестьянской жизни, и этим, конечно, сослужили хорошую службу молодежи, поддерживая в ней любовь к народу, интерес к материальной стороне его быта и симпатии к общинным формам жизни. Но никто не смел сказать, как помочь делу; никто не дерзал хоть намеком указать на поле возможной деятельности или же на выход из положения, которое признавалось безнадежным.

Некоторые писатели все еще надеялись, что Александр II опять станет преобразователем; но у большинства страх, что запретят журнал и сошлют издателей и сотрудников в более или менее отдаленные места, заглушал все остальные чувства. Опасение и надежды в одинаковой степени парализовали писателей. Чем сильнее радикальничали они десять лет назад, тем больше трепетали они теперь.

Нас с братом очень хорошо приняли в двух-трех литературных кружках, и мы иногда бывали на их приятельских собраниях. С кружком «Отечественных записок» я познакомился через Пятковского, который в то время получал хорошие деньги за «Историю Воспитательного дома» от ведомства императрицы Марии Федоровны и раз в месяц устраивал вечеринки, на которые приходили Курочкин, Лейкин, Минаев и иногда Михайловский. «Генералы», как звали издателей «Отечественных записок», то есть Некрасов и Щедрин, на этих вечерах никогда не бывали, а Елисеев был только один раз. В Елисееве я сразу увидел настоящего человека (я не знал тогда его почетного прошлого), но близко познакомиться с Елисеевым мне не пришлось.

Михайловский был тогда в высшей степени скромный юноша, сидевший большей частью молча, в стороне от других. Мне он казался очень симпатичным, но разговоров я с ним не помню. Героем вечеров у Пятковского бывал Курочкин, который иногда читал свои стихи. Серьезных разговоров на политические темы не велось. Когда брат пробовал заводить разговор о том, что дело во Франции принимает серьезный оборот (весна 1870 года), то все старались переводить разговор на другие темы. Кто-нибудь из старших уже, наверное, прерывал разговор громким вопросом: «А кто был, господа, на последнем представлении «Прекрасной Елены?» или: «А какого вы, сударь, мнения об этом балыке?» Разговор так и обрывался.

Вне литературных кружков положение дел обстояло еще хуже. В шестидесятых годах в России, а в особенности в Петербурге, было много передовых людей, которые, как казалось тогда, готовы были всем пожертвовать для своих убеждений. «Что случилось с ними?» – задавал я себе вопрос. Я заговаривал с некоторыми из них: «Осторожней, молодой человек!» – отвечали они. Их кодекс житейской философии заключался теперь в пословицах: «Сила соломѹ ломит», «Лбом стены не прошибешь» и тому подобных, которых, к несчастью, так много в русском языке. «Мы кое-что уже сделали, не требуйте больше от нас» или: «Потерпите, такое положение вещей долго не продержится». Так говорили нам. А мы, молодежь, готовы были начать борьбу, действовать, рисковать, если нужно, жертвовать всем. Мы просили у стариков лишь совета, кое-каких указаний и некоторой интеллектуальной поддержки.

Тургенев в романе «Дым» вывел некоторых экс-реформаторов высшего круга, и картина вышла довольно унылая. Но шестидесятников «на ущербе» нужно в особенности изучать по надрывающим душу романам и очеркам г-жи Хвоцинской, писавшей под псевдонимом «В. Крестовский» (не следует смешивать с В. Крестовским, автором «Петербургских трущоб»). Правилѹ прогрессистов на ущербе стало «довольствуйся, что жив», или, точнее, «радуйся, что выжил». Вскоре они, как и та безличная толпа, которая десять лет тому назад составляла силу прогрессивного движения, отказывались даже слушать «про разные сентименты». Они спешили воспользоваться богатствами, пльвшими в руки «практическим людям».

После освобождения крестьян открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа. Железные дороги строились с лихорадочной поспешностью. Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты получали громаднейшие доходы. Акционерные компании

росли как грибы после дождя; их учредители богатели. Люди, которые прежде скромно жили бы в деревне на доход от ста душ, а не то на еще более скромное жалованье судейского чиновника, теперь составляли себе состояния или получали такие доходы, какие во времена крепостного права перепадали лишь крупным магнатам.

Самые вкусы «общества» падали все ниже и ниже. Итальянская опера, прежде служившая радикалам форумом для демонстраций, теперь была забыта. Русскую оперу, робко выставявшую достоинства наших великих композиторов, посещали лишь немногие энтузиасты. И ту и другую находили теперь «скучной». Сливки петербургского общества валили в один пошленький театр Берга, в котором второстепенные звезды парижских малых театров получали легко заслуженные лавры от своих поклонников, конногвардейцев. Публика шла на «Прекрасную Елену» с Лядовой, в Александрийском театре, а наших великих драматургов забывали. Оффенбаховщина царила повсюду.

Нужно, впрочем, сказать, что политическая атмосфера была такова, что лучшие люди имели некоторое основание или во всяком случае находили веские оправдания, чтобы присмиреть. После каракозовского выстрела 4 апреля 1866 года Третье отделение стало всесильным. Заподозренные в «радикализме» – все равно, сделали они что-нибудь или нет, жили под постоянным страхом. Их могли забрать каждую ночь за знакомство с лицом, замешанным в политическом деле, за безобидную записку, захваченную во время ночного обыска, а не то и просто за «опасные» убеждения. Арест же по политическому делу мог означать все, что хотите: годы заключения в Петропавловской крепости, ссылку в Сибирь или даже пытку в казематах.

Каракозовское движение мало известно даже в самой России. Я находился в то время в Сибири и знаю о нем лишь понаслышке. По-видимому, в нем слилось тогда два различных течения. Одно из них представляло в зародыше то движение в народ, которое впоследствии приняло такие громадные размеры; второе же имело характер чисто политический. Несколько молодых людей, из которых вышли бы блестящие профессора, выдающиеся историки и этнографы, решили в 1864 году стать, несмотря на все препятствия со стороны правительства, носителями знания и просвещения среди народа. Они селились, как простые работники, в больших промышленных городах, устраивали там кооперативные общества, открывали негласные школы. Они надеялись, что при известном такте и терпении удастся воспитать людей из народа и таким образом создать центры, из которых постепенно среди масс будут распространяться лучшие идеи. Для осуществления плана были пожертвованы большие состояния. Любви и преданности делу было очень много. Вообще я склонен думать, что в сравнении с последующими движениями каракозовцы стояли на наиболее практической почве. Их организаторы, без сомнения, очень близко подошли к рабочему народу.

С другой стороны, Каракозов, Ишутин и некоторые другие члены кружка придали движению чисто политический характер. В период времени 1862–1866 годов политика Александра II приняла решительно реакционный уклон. Царь окружил себя крайними ретроgrадами и сделал их своими ближайшими советниками. Реформы, составлявшие славу первых лет его царствования, были изуродованы и урезаны рядом временных правил и министерских циркуляров. В лагере крепостников ждали вотчинного суда и возвращения крепостного

права в измененном виде. Никто не надеялся, что главная реформа – освобождение крестьян – устоит от ударов, направленных против нее из Зимнего дворца. Все это должно было привести Каракозова и его друзей к убеждению, что даже то небольшое, что сделано, рискует погибнуть, если Александр II останется на престоле, что России грозит возврат ко всем ужасам николаевщины. В то же время возлагались большие надежды (*Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neue*[16]) на либерализм наследника и Константина Николаевича. В доказательство либерализма наследника (будущего императора Александра III) приводилось то, что он, например, не надевает немецкого мундира; что как-то на обеде, когда пили за здоровье немецкого императора, он разбил бокал; что на такой-то обед он приехал в русском мундире и, когда отец (Александр II) сделал ему выговор, он отделался тем, что сказал, что «его немецкий мундир распоролся, когда он его надевал». Повторяли также, что, когда его после смерти первого наследника, его старшего брата Николая Александровича, засадили учиться, он говорил учителям: «К чему мне все это? У меня будут ответственные министры!» На основании всех этих разговоров в обществе и выводили заключение, что наследник в «оппозиции». Нужно также сказать, что подобные опасения и надежды довольно часто выражались и в гораздо более высоких кругах, чем те, где вращался Каракозов. Как бы то ни было, 4 апреля 1866 года Каракозов сделал покушение на Александра II, когда тот выходил из Летнего сада и садился на свою коляску. Как известно, он дал промах[17], и его тут же арестовали.

Глава реакционной партии в Москве Катков, в совершенстве постигший искусство извлекать денежную выгоду из каждой политической смуты, немедленно обвинил всех либералов и радикалов в сообществе с Каракозовым – что, конечно, было чистой ложью – и стал намекать в своей газете (и вся Москва ему поверила), что Каракозов явился лишь орудием в руках Константина Николаевича. Можно себе представить, как воспользовались этими обвинениями всемогущие Трепов и Шувалов и в каком страхе они стали держать Александра. Михаил Муравьев, заслуживший при усмирении польского восстания прозвище «вешателя», получил приказ произвести тщательное дознание и раскрыть всеми способами предполагавшийся заговор, и он немедленно арестовал массу лиц, принадлежавших ко всем слоям общества, сделал бесчисленное множество обысков и похвалялся, что «найдет средство развязать язык арестованным». Муравьев-вешатель, конечно, не отступился бы перед допросом «с пристрастием», и общественное мнение в Петербурге почти единодушно говорило, что Каракозова пытали, но не добились признаний.

Государственные тайны хорошо сохраняются в крепостях, в особенности в этой каменной громаде напротив Зимнего дворца, видевшей столько ужасов, лишь недавно раскрытых историками. Петропавловская крепость хранит до сих пор тайны Муравьева; но следующий эпизод бросит, быть может, на них некоторый свет.

В 1866 году я был в Сибири. Один из наших сибирских офицеров, который в конце того года ехал из России в Иркутск, встретил на одной из станций двух жандармов. Они сопровождали в Сибирь одного чиновника, сосланного за воровство, и теперь возвращались домой. Наш иркутский офицер, очень милый человек, застал жандармов за чаем и, покуда перепрягали лошадей, подсел к ним и завел разговор. Оказалось, что один из жандармов знал Каракозова.

– Хитрый был человек, – говорил жандарм. – Когда он сидел в крепости, нам ведено было не давать ему спать. Мы по двое дежурили при нем и сменялись каждые два часа. Вот, сидит он на табурете, а мы караулим. Станет он дремать, а мы встряхнем его за плечо и разбудим. Что станешь делать? Приказано так. Ну, смотрите, какой же он хитрый. Сидит он, ногу за ногу перекинул и качает ее. Хочет показать нам, будто не спит, сам дремлет, а ногой все дрыгает. Но мы скоро заметили его хитрость, тоже передали и тем, что пришли на смену. Ну, и стали его трясти каждые пять минут – все равно, качает ли он ногой или нет.

– А долго это продолжалось? – спросил мой приятель.

– Долго, больше недели!

Наивный характер этого рассказа уже сам по себе свидетельствует о правдивости: выдумать его нельзя было, а потому можно принять за достоверное, что по крайней мере лишением сна Каракозова пытали.

Один из моих товарищей по корпусу, присутствовавший на казни Каракозова вместе со своим кирасирским полком, рассказывал мне: «Когда его вывезли из крепости, привязанного к столбу на высокой платформе телеги, прыгавшей по неровной поверхности гласиса, я думал вначале, что везут вешать резиновую куклу. Я думал, что Каракозов, верно, уже умер и что вместо него везут куклу. Представь себе, голова, руки висели, точно костей не было вовсе или их переломали. Страшно было смотреть. Но потом, когда два солдата сняли Каракозова с телеги, он двигал ногами и употреблял все усилия, чтобы без поддержки подняться на эшафот, так что это не была кукла и он не в обмороке. Все мы, офицеры, были очень поражены и не могли объяснить себе дело». Я намекнул товарищу, что, быть может, Каракозова пытали, он покраснел и сказал: «Мы все так думали!»

Конечно, одного даже лишения сна в продолжение нескольких недель было бы достаточно, чтобы объяснить то состояние, в котором находился в день казни Каракозов – человек, как известно, очень сильный духом. Могу только прибавить к этому, что мне достоверно известно, что в Петропавловской крепости, по крайней мере в одном случае, а именно в 1879 году, Адриану «Сабурову» давали одуряющее пойло. Ограничился ли Муравьев при применении пытки только такими средствами? Помешали ли ему пойти дальше? Или никто не мешал? Этого я не знаю; но я слышал не раз от высокопоставленных лиц в Петербурге, что при допросе Каракозова была применена пытка.

Муравьев обещал искоренить всех радикалов в Петербурге; и потому все имевшие радикальное прошлое трепетали теперь, страшась попасть в лапы вешателю. Больше всего сторонились они от молодежи, чтобы не запутаться как-нибудь в опасное революционное общество. Таким образом, пропасть открылась не только между «отцами и детьми» – не только между двумя поколениями, но даже между людьми, перевалившими за тридцать, и теми, кто еще не достиг этого возраста. Русская молодежь стояла теперь в таком положении, что ей не только приходилось бороться с отцами, которые защищали крепостные порядки, но и старшие братья отстранились от нее: они не захотели примкнуть к ней в ее тяготении к социализму и боялись вместе с тем поддержать ее в борьбе за расширение политических прав.

Встречался ли прежде когда-нибудь в истории подобный пример, чтобы горсти молодежи пришлось одной выступить на бой против такого могучего врага – оставляемой и отцами, и старшими братьями – тогда как эта молодежь только приняла горячо к сердцу и пыталась осуществить в жизни умственное наследие самых этих отцов и братьев? Велась ли когда-нибудь где-нибудь борьба при таких трагических условиях?

## VI. Высшее женское образование. Стремление женской молодежи к науке. Причины успеха

Единственным светлым явлением в петербургской жизни было движение среди молодежи обоего пола. Здесь слилось несколько различных течений, и они образовали мощный агитационный поток, который вскоре принял подпольный и революционный характер и на пятнадцать лет приковал к себе внимание всей России. Об этом движении я скажу ниже. Теперь же остановлюсь на борьбе русских женщин из-за высшего образования. Центром этого движения был тогда Петербург.

Каждый день, когда молодая жена моего брата возвращалась с педагогических курсов, на которых слушала лекции, она сообщала нам что-нибудь новое об оживлении, господствовавшем там. Там шли горячие толки об открытии для женщин особых университетов и медицинских курсов; устраивались лекции и собеседования о школах и о различных методах образования, и тысячи женщин принимали в них горячее участие, обсуждая разные вопросы в своих кружках. Появились общества переводчиц, издательниц, переплетчиц и типографщиц, в которых женщины, съезжавшиеся в Петербург и готовые взяться за всякий труд, лишь бы добиться возможности получить высшее образование, могли бы получать занятие. Словом, в этих женских кругах пульс жизни бился сильно и часто представлял резкую противоположность тому, что я видел в других сферах.

Когда выяснилось, что правительство твердо решило не допускать женщин в существующие университеты, они употребили все усилия, чтобы добиться открытия своих собственных высших курсов. В Министерстве народного просвещения им сказали, что девушки, окончившие женскую гимназию, не имеют достаточной подготовки для слушания университетских лекций. «Отлично, – ответили они, – разрешите нам в таком случае устроить подготовительные курсы. Введите какую хотите программу. Мы не просим даже денежной помощи от государства. Только дайте разрешение. Все остальное мы сделаем сами». Но разрешение, конечно, не дали.

Тогда женщины организовали в различных частях Петербурга научные курсы в частных домах. Многие профессора, сочувствовавшие движению, вызвались читать лекции, и, хотя сами люди небогатые, они предупредили основательниц, что всякий намек о вознаграждении сочтут за личное оскорбление. Затем, летом, под руководством профессоров университета устраивались в окрестностях Петербурга геологические и

ботанические экскурсии, и большею частью на экскурсии собирались женщины. На акушерских курсах слушательницы убедили профессоров читать каждый предмет гораздо полнее, чем требовалось по программе, и добились преподавания предметов, вовсе не входивших в программу. Словом, женщины пользовались всякою возможностью, всякою брешью в крепости, чтобы взять ее штурмом. Они добились доступа в анатомический театр профессора Грубера и своими превосходными работами заручили на свою сторону старого ученого, для которого анатомия была культом. И если они узнавали, что какой-нибудь профессор согласен допустить их в свою лабораторию по вечерам или по воскресеньям, то немедленно пользовались этим случаем учиться.

Наконец, несмотря на все нежелание Министерства, подготовительные курсы, под названием педагогических, открылись. В самом деле, нельзя же было воспретить будущим матерям изучение методов воспитания! Но так как метод преподавания ботаники или естественных наук вообще нельзя изучать абстрактно, то вскоре в программу педагогических курсов вошли эти предметы, а потом еще и другие.

Шаг за шагом женщины расширяли свои права. Как только становилось известно, что тот или другой профессор в Германии собирается открыть свою аудиторию женщинам, как в его двери уже стучались русские слушательницы. Они изучали право и историю в Гейдельберге, математику в Берлине. В Цюрихе более ста женщин и девушек работали в лабораториях университета и политехникума. Там они добились более важного, чем докторские дипломы, а именно уважения лучших профессоров, которые и высказывали его публично. Когда я приехал в Цюрих в 1872 году и познакомился с некоторыми студентками, то был поражен тем, как молодые девушки в политехникуме разрешали при помощи дифференциального исчисления сложные задачи по теории теплоты или упругости так легко, будто много лет учились математике. Среди русских девушек, изучавших математику в Берлине под руководством Вейерштрасса, была, как известно, Софья Ковалевская, ставшая впоследствии профессором Стокгольмского университета. Кажется, она была первый профессор-женщина в мужском университете, по крайней мере в XIX веке. Ковалевская была так молода, что в Швеции все называли ее не иначе как уменьшительным именем.

Александр II ненавидел ученых женщин. Когда он встречал девушку в очках и в гарибальдийской шапочке, то пугался, думая, что перед ним нигилистка, которая вот-вот выпалит в него из пистолета. А между тем, несмотря на его нежелание, несмотря на оппозицию жандармов, изображавших царю каждую учащуюся женщину революционеркой, несмотря на громы против всего движения и на гнусные обвинения, которые Катков печатал в каждом номере своей подлой газеты, женщины все же добились открытия ряда курсов. Некоторые из них получили докторские дипломы за границей, а в 1872 году они добились разрешения открыть в Петербурге высшие медицинские курсы на частные средства. Когда же правительство отозвало учащихся женщин из Цюриха из страха, что они будут знакомиться там с революционерами и проводить потом революционные идеи на родине, то оно вынуждено было открыть в России для них высшие курсы, то есть женские университеты, в которых скоро оказалось более тысячи слушательниц. Не поразительно ли, в самом деле, что, несмотря на правительственное гонение на медицинские курсы, несмотря на временное закрытие их, в России теперь более 670 женщин-врачей[18].

Без сомнения, то было великое движение, изумительное по своим результатам и крайне поучительное вообще. Победа была одержана благодаря той преданности народному делу, которую проявили женщины. Они проявили ее как сестры милосердия во время Крымской войны, впоследствии как учредительницы школ, как земские акушерки и фельдшерицы, и, наконец, еще позже, они стали сестрами милосердия и врачами в тифозных бараках во время русско-турецкой войны и здесь заслужили уважение не только военных властей, но и самого Александра II, недружелюбно относившегося к ним сначала. Я знаю двух женщин, которые служили на войне сестрами милосердия. Они отправились с чужим паспортом, так как их усердно разыскивали жандармы. Одну из них, наиболее важную «преступницу» С. Н. Лаврову, принимавшую большое участие в моем побеге, назначили даже старшей сестрой в военном госпитале, где подруга ее едва не умерла от тифа. Короче, женщины брались за всякое дело, с какими бы трудностями оно ни было сопряжено, если только могли быть полезны народу. И так поступали не единичные личности, а тысячи. Они в буквальном смысле слова завоевали свои права.

Другой характерной чертой женского движения было то, что в нем не образовалось упомянутой выше пропасти между двумя поколениями: старших и младших сестер. Во всяком случае через овраг было немало мостиков. Те женщины, которые были первыми инициаторами движения, никогда не порывали потом связи с младшими сестрами даже тогда, когда последние ушли гораздо дальше вперед и стали придерживаться крайних взглядов. Они преследовали свои цели в высших сферах, они держались в стороне от всяких политических агитаций, но они никогда не забывали, что сила движения в массе более молодых женщин, большая часть которых примкнула впоследствии к революционным кружкам. Эти вожаки женского движения были олицетворением корректности; я считал их даже слишком корректными; но они не порывали с молодыми студентками, типичными нигилистками по внешности: стрижеными, без кринолинов, щеголявшими демократическими замашками. От этой молодежи вожаки движения держались немного в стороне; иногда даже отношения обострялись; но они никогда не отрекались от своих младших сестер – великое дело, скажу я, во время тогдашних безумных преследований.

Вожак женского движения, казалось, говорили более демократической молодежи: «Мы будем носить наши бархатные платья и шиньоны, потому что нам приходится иметь дело с глупцами, видящими в наряде признак политической благонадежности; но вы, девушки, вольны в ваших вкусах и наклонностях». Когда русское правительство приказало студенткам, учившимся в Цюрихе, возвратиться на родину, изящные дамы-вожаки не отвернулись от них. Они только сказали правительству: «Вам это не нравится? Так откройте высшие женские курсы в России. Иначе наши девушки поедут за границу в еще большем числе и, конечно, будут вступать там в сношения с эмигрантами». Когда же их попрекали тем, что они воспитывают революционерок, и грозили, что закроют высшие женские курсы и академию, они отвечали: «Да, многие студенты становятся революционерами, но разве из этого следует, что надо закрыть все университеты?» Как редко политические вожаки, имеющие мужество не отвернуться от крайнего крыла своей собственной партии!

Секрет этой благоразумной и успешной тактики объясняется тем, что ни одна из женщин, стоящих во главе движения, не была просто «феминисткой», желавшей занять привилегированное положение в обществе или в государстве. Совсем напротив. Симпатии

большинства были на стороне народа. Я помню живое участие, которое принимала Стасова в воскресных школах 1861 года, помню те дружеские отношения, которые она и ее друзья завязывали среди девушек-фабричных, интересуясь тяжелой жизнью работниц, их борьбой с жадными хозяевами. Помню также то горячее участие, которое слушательницы педагогических курсов приняли в сельских школах и в трудах тех немногих, которым, как барону Корфу, на некоторое время разрешали заниматься педагогической деятельностью среди народа. Помню также общественный дух, которым были проникнуты эти курсы. Права, за которые они боролись – как вожаки, так и масса этих женщин, – были вовсе не право на получение лично для себя высшего образования, а гораздо больше, несравненно больше – право быть полезными деятельницами среди народа. В этом и была причина их успеха.

## VII. Смерть отца. Новые веяния в Старой Конюшенной

В последние годы здоровье нашего отца все ухудшалось. Когда, мы приехали с братом Александром повидать его весной 1871 года, доктора сказали нам, что он доживет только до первых морозов. Он жил по-прежнему в Старой Конюшенной; но в этом аристократическом квартале произошло за последнее время большие перемены. Богатые помещики, игравшие здесь когда-то такую видную роль, исчезли. Они прокутили выкупные свидетельства, заложили и перезаложили свои имения в только что учрежденных земельных банках, которые воспользовались их беспомощностью, а затем удалились в свои имения или провинциальные города, где и были забыты всеми. Их дома в Старой Конюшенной достались богатым купцам, железнодорожникам и тому подобным «выскачкам», тогда как почти в каждой из старых дворянских семей новая жизнь боролась за свои права среди развалин старой. Единственными знакомыми отца остались два-три старых отставных генерала, проклинавших новшества и облегчавших душу предсказаниями неминуемой гибели России, да еще, может быть, кто-нибудь из родни, случайно заглядывавший к нему проездом через Москву. Из всех наших многочисленных родственников, которых было когда-то в Москве не меньше двадцати семейств, теперь в столице жило всего две семьи, тоже увлеченные потоком новой жизни: матери в этих семьях обсуждали с дочерьми и сыновьями вопросы о народных школах или толковали о женских курсах... Отец, конечно, глядел на них с презрением. Он не мог примириться с новыми порядками... Мачеха и младшая сестра Полина по мере сил ухаживали за ним; но и они тоже чувствовали себя неловко в изменившейся среде.

Отец всегда был суров и в высшей степени несправедлив к Александру; но Александр отличался замечательной незлобивостью. Когда со своей доброй улыбкой на губах и в кротких голубых глазах он вошел в комнату, где лежал отец, и тотчас же нашел, что следует сделать, чтобы больному было удобнее, причем все это выходило так просто и естественно, точно Александр все время просидел в комнате больного, отец был совершенно поражен. Он глядел на Александра, по-видимому ничего не понимая. Наше посещение внесло несколько жизни в мрачный печальный дом. Уход за больным стал

несколько живее. Мачеха, Поля, даже прислуга оживились, и отец сразу почувствовал перемену.

Одно, впрочем, смущало его. Он ожидал, что мы явимся как блудные сыновья с мольбой о прощении и помощи. Но когда он обиняками завел разговор о деньгах, мы весело ответили ему: «Не беспокойтесь, папаша, мы отлично устроились». Это еще больше сбilo его. Он совсем подготовился к сцене, как бывало в его время: сыновья просят прощения и... денег. Быть может, одну минуту он испытал даже разочарование, что ее не было, но зато потом он стал относиться к нам с большим уважением. Расставаясь, мы все трое были очень растроганы. Отца почти страшило возвращение к мрачному одиночеству среди развалин строя, который он поддерживал всю жизнь. Но Александра ждала служба, а мне необходимо было ехать в Финляндию на геологическую работу.

Осенью, когда меня вызвали по телеграфу из Финляндии, я поспешил в Москву, но приехал уже к отпеванию – в той самой красной церкви Иоанна Предтечи в Старо-Конюшенном переулке, в которой крестили отца и отпевали бабушку. И, следуя за катафалком по знакомым мне с детства улицам, я думал о совершившихся переменах. Дома, мимо которых шла процессия, мало изменились, но я знал, что в каждом из них началась новая жизнь.

Вот дом, прежде принадлежавший матери моего отца, затем княгине Друцкой, а потом старожилу Старой Конюшенной генералу Дурново. Единственная его дочь упорно боролась два года с добродушными, боготворившими ее, но упрямыми родителями из-за разрешения посещать высшие курсы. Наконец девушка победила; но ее отправляли на курсы в элегантной карете под надзором маменьки, которая мужественно высиживала часы на скамейках аудитории вместе со слушательницами, рядом с любимой дочкой. И, несмотря на бдительный надзор, через год или два дочь присоединилась к революционному движению, была арестована и просидела целый год в Петропавловской крепости.

Вот, например, дом графов Z. Две дочери их, которым опротивела бесполезная, бесцельная праздная жизнь, долго боролись из-за разрешения присоединиться к другим девушкам, посещавшим курсы и чувствовавшим себя там столь счастливыми. Борьба продолжалась несколько лет. Родители не уступали. В результате старшая сестра отравилась; только тогда младшей разрешили поступать как ей угодно.

А вот, наискось от дома нашей бабушки, дом, где мы прожили когда-то год. Он принадлежал впоследствии родным Наталии Армфельд, трогательный портрет которой дал Кеннан, видевший ее в вольной команде на Каре, деятельного члена нашего кружка, уцелевшей от разгрома 1874 года и смело продолжавшей нашу работу; и в этом доме состоялось первое заседание московского отдела нашего кружка, который мы с Чайковским основали.

А вот еще в нескольких шагах от дома, в котором скончался отец, небольшой серенький дом, где через несколько месяцев после смерти отца я встречал Степняка, переодетого мужиком. Он только что был арестован в деревне за социалистическую пропаганду среди крестьян, но успел убежать и приехал в Москву.

Такие-то перемены произошли в барском квартале Старой Конюшенной за последние пятнадцать лет. Крепость старого дворянства – и та не выдержала напора молодых сил.

## VIII. Первая поездка за границу.

### Пребывание в Цюрихе. Интернационал.

### Социалистическая литература.

### Женевские вожди и политиканы

Ранней весной следующего года я в первый раз побывал за границей. Переезжая рубеж, я испытал даже сильнее, чем я ожидал этого, то, что чувствуют все русские, выезжающие из России. Пока поезд мчится по малонаселенным северо-западным губерниям, испытываешь чувство, как будто пересекаешь пустыню. На сотни верст тянутся заросли, к которым едва применимо название леса. Там и сям виднеется жалкая деревушка, полузанесенная снегом. Но со въездом в Пруссию все меняется сразу – и пейзаж, и люди. Из окон вагона видны чистенькие деревни и фермы, садики, мощные дороги, и, чем дальше проникаешь в Германию, тем противоположность становится разительнее. После русских городов даже скучный Берлин кажется оживленным.

А разница в климате! Два дня тому назад, когда я оставлял Петербург, все было покрыто снегом; здесь же, в центральной Германии, я ходил по платформе железнодорожной станции без пальто. Солнце припекало; почки уже налились, и цветы готовы были распуститься. А потом пошел Рейн, а еще дальше Швейцария, залитая яркими лучами солнца, с ее маленькими отелями, где завтрак вам дают под открытым небом, в виду снежных гор. До тех пор я никогда так ясно не представлял себе, что значит северное положение России и какое влияние на ее историю имело то обстоятельство, что центр ее умственной жизни лежит на севере, у самых берегов Финского залива. Только теперь я понял вполне, почему юг всегда так привлекал русских, почему они употребили такие невероятные усилия, чтобы достигнуть Черного моря, и почему сибирские засельщики так упорно стремятся на юг, в глубь Маньчжурии.

В то время в Цюрихе училось множество русских студентов и студенток. Знаменитая Оберштрассе была настоящим русским городком; русская речь здесь преобладала. Студенты, а в особенности студентки, жили так, как вообще живут русские учащиеся, то есть на самые ничтожные средства. Чай, хлеб, немного молока, маленький ломтик мяса, зажаренный на спиртовой лампочке, под оживленные разговоры про последние события в социалистическом мире или по поводу прочитанной книги, – этим вполне довольствовалась молодежь. Те, которые имели больше денег, чем требовалось для подобной жизни, отдавали их на общее дело: на библиотеку, на русский революционный журнал, на швейцарские рабочие газеты. Относительно нарядов публика была до крайности неприхотлива.

Но девушке в семнадцать лет Какая шапка не пристанет? И в старом городе Цвингли русские студентки как бы ставили населению вопрос: может ли быть такой простой наряд, который не пристал бы девушке, когда она молода, умна и полна энергии?

И вместе с тем русские женщины работали упорно и настойчиво; так никогда еще не работали с тех пор, как существуют университеты. Профессора не переставали ставить женщин в пример студентам.

Наши студенты и студентки, конечно, принимали горячее участие в рабочем движении, то есть следили за ним, читали рабочие газеты и брошюры и горячо принимали сторону той или другой партии. Социал-демократы, конечно, были в подавляющем большинстве, но было и несколько бакунистов: Сонечка, Смецкая, Росс и несколько других. Но тогда уже меня поразил тот факт, что все они далеко держались в стороне от местного швейцарского рабочего движения. Слушая их споры, казалось, что они готовы жизнь отдать за свою партию в Цюрихе, а между тем к рабочему движению в самом Цюрихе они не приставали, они «кипели в своем соку», страстно споря в своих кружках и ссорясь из-за заграничных течений вместо того, чтобы на работе среди заграничных рабочих на практике учиться будущей работе среди русских рабочих и крестьян и знать, по крайней мере не из журналов, а из действительной жизни, те направления, из-за которых они ссорились. Русские ходили только на большие собрания, где агитаторы-социалисты гремели речами. Повседневную бесшумную работу среди рабочих масс они избегали. Так было тогда, так осталось и потом.

Уже много лет мне страстно хотелось изучить все касающееся Интернационала. Русские газеты часто упоминали о нем, но им не разрешалось писать ни о целях, ни о деятельности Международного союза работников. Я догадывался, что это должно быть великое движение, имеющее богатое будущее, но я не мог хорошо уловить его цели. Теперь, в Швейцарии, я решился найти ответ на все мои вопросы.

Интернационал находился тогда на высшей точке своего развития. Сороковые годы пробудили в сердцах западноевропейских рабочих большие надежды. Лишь теперь мы узнаем, какую массу литературы распространили тогда среди пролетариата социалисты всех оттенков: христианские и государственные социалисты, фурыеристы, сен-симонисты, оуэнисты и так далее; и только теперь мы начинаем понимать, как глубоко было это движение. Многие из того, что наше поколение считает своим открытием, было выражено уже тогда, подчас с большею силой и большим пониманием. Республиканцы под словом «республика» понимали тогда вовсе не демократическую организацию капитализма, как понимается это теперь, а нечто совершенно другое. Когда республиканцы говорили об Европейских Соединенных Штатах, они подразумевали братство всех работников и обращение орудий истребления в орудия производства, предоставленные всем членам общества: «мечи, перекованные в орала», «железо, возвращенное работникам», как говорил в одной из своих песен Пьер Дюпон. Республиканцы стремились не только к равенству перед законом и к равным политическим правам, но главным образом к экономическому равенству. Даже националисты думали тогда о такой молодой Германии, молодой Италии и молодой Венгрии, которые возьмут на себя почин смелых аграрных и экономических реформ.

Разгром июньского восстания в Париже, поражение венгерской армии Николаем I и молодой Италией французами и австрийцами, потом мрачная политическая и умственная реакция, начавшаяся вскоре после 1848 года по всей Европе, совершенно задавили громадное движение того времени, и в последующие двадцать лет люди просто забыли литературу социалистов сороковых годов, их деятельность и самые принципы экономической революции и всеобщего братства. Во Франции после июньских дней 1848 года социалистическую литературу скупало и уничтожало особое общество под председательством Тьера, основанное для борьбы с социализмом.

Но одна идея уцелела среди этого разгрома – мысль о братстве работников всех стран. Несколько французских изгнанников продолжали проповедовать ее в Соединенных Штатах, а в Англии она жила среди учеников Роберта Оуэна. И в 1862 году соглашение, состоявшееся между немногими английскими работниками и французскими делегатами во время всемирной выставки в Лондоне, послужило отправной точкой для мощного движения, которое вскоре распространилось по всей Европе, захватив миллионы представителей труда. Спавшие двадцать лет надежды снова пробудились, когда из Лондона раздался призыв к работникам «всех наций, религий, рас, цветов и полов» соединиться и заявить, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Их приглашали внести в поток эволюции человечества новую мощную силу интернациональной организации, борющейся не во имя слащавой любви и милосердия, а во имя справедливости, которая неизбежно должна быть оказана людям, сознавшим свой идеал и цели жизни.

В 1868 и 1869 годах в Париже произошли две стачки, до известной степени поддержанные небольшими суммами, присланными из-за границы, главным образом из Англии. Хотя эти стачки сами по себе были незначительны, но они, а вслед за тем преследование Интернационала наполеоновским правительством породили мощное движение, которое противопоставило соперничеству государств единение всех работников. Мысль о международном объединении всех отдельных ремесел и о борьбе против капитала при международной поддержке увлекла всех, даже самых индифферентных, рабочих. Как степной пожар, движение быстро охватило Францию, Италию, Бельгию и Испанию и выдвинуло множество развитых, деятельных и преданных рабочих. К движению присоединилось также несколько выдающихся личностей обоего пола из высших классов. В Европе с каждым днем крепла сила, существование которой до тех пор даже не подозревалось. И если бы движение не было задержано франко-прусской войной, в Европе произошли бы, вероятно, великие события, которые ускорили бы процесс и изменили характер нашей цивилизации. Но сокрушившая Францию победа Германии создала ненормальные условия. Она на двадцать пять лет затормозила правильное развитие Франции и породила период военщины, из которого мы до сих пор еще не выбились.

В то время среди работников были в ходу всякие полумеры, предлагавшиеся для разрешения великого социального вопроса: потребительные и производительные общества, поддержанные государством, народные банки, даровой кредит и так далее. Проекты всех этих полумер вносились один за другим в «секции» или «отделы» Международного союза, а затем и местные, окружные, национальные и наконец, интернациональные съезды и горячо обсуждались. Вместо всех этих полумер выростала идея великой социальной революции. Каждый год международный съезд Союза работников знаменовал собою новый шаг вперед

в развитии вопроса, который стоит теперь перед нашим поколением и грозно требует разрешения. До настоящего времени никем еще не была сделана должная оценка всех тех умных, научно верных и глубоких мыслей (все они были результатом коллективного мышления работников), которые были высказаны на этих конгрессах[19]. Достаточно сказать – и в этом не будет никакого преувеличения, – что все проекты преобразования общества, известные теперь под названием «научного социализма» и «анархизма», имеют свое начало в рассуждениях съездов и в различных докладах Интернационала. Немногие образованные люди, присоединившиеся к движению, только облекли в теоретическую форму желания и критику действительности, высказанные рабочими в отделах Международного союза и на его съездах.

Война 1870–1871 годов замедлила, но не прекратила развития Союза. Во всех промышленных центрах Швейцарии продолжали существовать многочисленные и оживленные секции (отделы) Интернационала, и тысячи работников посещали их заседания, на которых объявлялась война существующей системе частного владения землей и фабриками и провозглашалось, что близок конец капиталистического строя. В различных местах Швейцарии устраивались местные съезды, и на каждом из них обсуждались наиболее животрепещущие и трудные вопросы современного общественного строя, причем знание предмета и широта постановки вопросов пугали буржуазию едва ли не больше, чем все возраставшее число членов в секциях и федерациях Интернационала. Соперничество и зависть, всегда существовавшие между привилегированными работниками (часовщиками, ювелирами) и представителями более грубых производств (например, строительными рабочими и ткачами) и препятствовавшие до тех пор объединению, исчезали мало-помалу. Работники все с большею и большею силою заявляли, что из всех перегородок, настроенных в современном обществе, самая главная и самая вредная та, которая делит общество на обладателей капитала и на пролетариев, обреченных в силу своей прирожденной бедности навсегда оставаться производителями богатства для капиталистов.

Италия, в особенности Средняя и Северная, была тогда покрыта отделами Интернационала, и в них открыто заявлялось, что национальное единство Италии, из-за которого так долго боролись патриоты, оказалось чистою иллюзией. Народ призывал теперь произвести собственную революцию: забрать землю для крестьян и фабрики для работников и уничтожить гнет централизованного государства, исторической миссией которого всегда было поддерживать эксплуатацию и порабощение человека человеком.

В Испании отделы Интернационала возникли во множестве в Каталонии, Валенсии и Андалузии. Они поддерживались сильными рабочими союзами в Барселоне, которые уже тогда добились восьмичасового дня в строительном деле. Интернационал насчитывал в Испании не меньше восьмидесяти тысяч платящих членов. В него вошли все деятельные и энергичные элементы общества. Нежеланием вмешиваться в политические интриги 1871–1872 годов они расположили к себе громадную массу населения. Отчеты о провинциальных и национальных съездах в Испании и их манифесты всегда были образцами строгой логики в критике существующего строя и превосходными изложениями идеалов рабочего класса.

То же самое движение распространялось в Бельгии, Голландии и даже в Португалии. Лучшие элементы бельгийских ткачей и углекопов присоединились к Интернационалу. В Англии тред-юнионы, то есть рабочие союзы, известные своею косностью, присоединились к движению, по крайней мере в принципе, то есть, еще не признавая себя социалистами, они выразили готовность поддерживать своих братьев на материке в борьбе с капиталом, в особенности во время стачек. В Германии социалисты заключили союз с многочисленными последователями Лассалля, и таким образом заложен был фундамент социал-демократической партии. Австрия и Венгрия шли тем же путем. Во Франции после поражения Коммуны и наступившей вслед за тем реакции никакая организация Интернационала не была возможна, так как Союз был запрещен и против членов Союза изданы были драконовские законы, но все, тем не менее, были убеждены, что вскоре Франция не только присоединится к движению, но даже станет во главе его.

По приезду в Цюрих я вступил в одну из местных секций Интернационала и спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно познакомиться с великим движением, начавшимся в других странах. «Читайте», – сказали мне, и одна моя родственница (Софья Николаевна Лаврова), учившаяся тогда в Цюрихе, принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два года. Я читал целые дни и ночи напролет, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится. Поток новых мыслей, зародившихся во мне, связывается в моей памяти с маленькой, чистенькой комнаткой на Оберштрассе, из окна которой видно было голубое озеро, высокие шпили старого города, свидетеля стольких ожесточенных религиозных споров, и горы на другом берегу, где швейцарцы боролись за свою независимость.

Социалистическая литература никогда не была богата книгами. Она писана для рабочих, у которых и несколько копеек уже – деньги, да и времени мало на чтение после долгого рабочего дня. Поэтому она состоит преимущественно из брошюр и газет. К тому же желающий ознакомиться с социализмом мало найдет в книгах того, что больше всего ему нужно узнать. В книгах изложены теории и научная аргументация социализма, но они не дают понятия о том, как работники принимают социалистические идеалы и как последние могут быть осуществлены на практике. Остается взять кипы газет и читать их от доски до доски: хронику, передовые статьи и все остальное; хроника рабочего движения даже важнее передовых.

Зато совершенно новый мир социальных отношений и совершенно новые методы мышления и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь, а именно объясняет глубину и нравственную силу движения и показывает, насколько люди проникнуты новыми теориями, насколько работники подготовлены провести идеи социализма в жизнь и пострадать за них. Всего этого из другого чтения нельзя узнать, а потому все толки теоретиков о неприменимости социализма и о необходимости медленного развития имеют мало значения, потому что о быстроте развития можно судить только на основании близкого знакомства с людьми, о развитии которых мы говорим. Можно ли узнать сумму, пока не известны ее слагаемые?

Какая польза, например, мне знать, что Энгельс построил какую-то утопию или Кабе выразался так-то о будущем обществе, пока у меня нет никаких элементов для того, чтобы

сказать: «Да, рабочие способны вести такие-то свои дела без помощи буржуа» или: «В рабочей среде достаточно развит элемент взаимопомощи, взаимной поддержки и инициативы, чтобы приступить к осуществлению идеалов социализма».

Общественная (социальная) гипотеза и утопия должны оставаться утопией и гипотезой, если нет людей, стремящихся к осуществлению именно этой утопии в такой-то форме. Простой факт, например, что во время Парижской Коммуны, когда все чиновники оставили Париж и почта была дезорганизована, рабочему Тейшу достаточно было собрать простых почтальонов и сказать им: «Вам, господа, предстоит самим организовать сортировку и разноску писем, не ожидая организации сверху», – чтобы через два-три дня разноска почты в Париже сорганизовалась с тем же механическим совершенством, как это было и до Коммуны. Такой факт – а их тысячи в хронике рабочего движения – больше проливает света на возможность безгосударственной утопии, чем десятки блестящих рассуждений о руководящих импульсах человеческих поступков.

Во всех социальных вопросах главный фактор – хотят ли того-то люди? Если хотят, то насколько хотят они этого? Сколько их? Какие силы против них? Все теории эволюции ничего не стоят, покуда на этот вопрос нет ответа. Медленность эволюции – конек Спенсера и многих других ученых. А между тем никто никогда еще в науке не пытался определить факторы, от которых зависит скорость эволюции. Скорость человеческой эволюции в данном направлении вполне зависит от интеграла единичных волей. А между тем найти этот интеграл или хотя бы только оценить его количественно можно, только живя среди людей и следя за самыми простыми, обыденными, мелкими проявлениями человеческой воли.

Вот в каком смысле чтение социалистических газет несравненно важнее чтения книг по социализму. Сочинение, большая книга, резюмирует идеал, нарождающийся в человечестве, с придачей аргументов, более или менее умно придуманных автором. Рабочая социалистическая газета дает просто факты, знакомясь с которыми мы можем составить себе приблизительное понятие об этом интеграле воли в данном направлении. Так, в метеорологии невозможно судить о предстоящей погоде, не зная, сколько есть шансов, чтобы барометрический максимум такого-то рода появился в данном месяце в такой-то части Европы.

Чтение социалистических и анархических газет было для меня настоящим откровением. И из чтения их я вынес убеждение, что примирения между будущим социалистическим строем, который уже рисуется в глазах рабочих, и нынешним, буржуазным быть не может. Первый должен уничтожить второй.

Чем больше я читал, тем сильнее я убеждался, что предо мною новый для меня мир, совершенно неизвестный ученым авторам социологических теорий. Мир этот я мог изучить, только проживши среди рабочего Интернационала и присматриваясь к его повседневной жизни. Поэтому я решил посвятить такому изучению два-три месяца. Мои русские знакомые одобрили мой план, и после нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала.

Женевские секции Интернационала собирались в огромном масонском храме Temple Unique. Во время больших митингов просторный зал мог вместить более двух тысяч человек. По вечерам же всякого рода комитеты и секции заседали в боковых комнатах, где читались также курсы истории, физики, механики и так далее. Очень немногие интеллигентные люди, приставшие к движению, большей частью французские эмигранты-коммунисты, учили без всякой платы. Храм служил, таким образом, и народным университетом, и вечерним сборным местом.

Одним из главных руководителей в масонском храме был Николай Утин, образованный, ловкий и деятельный человек. Утин принадлежал к марксистам. Жил он в хорошей квартире с мягкими коврами, где, думалось мне, зашедшему простому рабочему было бы не по себе. Душой же всегда являлась симпатичная русская женщина, которую работники величали m-me Olga. Она деятельнее всех работала во всех комитетах. Утин и m-me Olga приняли меня очень радушно, познакомили со всеми выдающимися работниками различных секций, организованных по ремеслам, и приглашали на комитетские собрания. Я побывал и на этих собраниях, но гораздо более предпочитал им среду самих рабочих.

За стаканом кислого вина я просиживал подолгу вечером в зале у какого-нибудь столика среди работников и скоро подружился с некоторыми из них, в особенности с одним каменщиком-эльзасцем, покинувшим Францию после Коммуны. У него были дети: двое из них в возрасте детей моего брата, недавно умерших скоропостижно. Я скоро сдружился с детьми, а через них и с родителями. Теперь я мог наблюдать жизнь движения изнутри и лучше понимать, как смотрели на него сами работники. Они все свои надежды основывали на Интернационале. Молодые и старые спешили после работы в Temple Unique, чтобы подобрать там крупницы знания или послушать ораторов, говоривших о великой будущности. Затаив дыхание, они слушали про строй, который будет основан на общности орудий производства, на полном братстве без различия сословий, рас и национальностей. Все верили, что так или иначе вскоре наступит великая социальная революция, которая совершенно изменит экономические условия. Никто не желал междоусобной войны, но все говорили, что если правящие классы своим слепым упрямством сделают ее неизбежной, то нужно будет воевать, лишь бы только борьба принесла с собою благоденствие и свободу угнетенным.

Нужно было жить среди рабочих, чтобы понять, какое влияние имел на них быстрый рост Интернационала, как верили они в движение, с какою любовью говорили про него и какие делали для него жертвы. Изо дня в день, из года в год тысячи работников жертвовали своим временем и деньгами, чтобы поддержать свою секцию, основать газету, покрыть расходы по устройству какого-нибудь национального или международного съезда, чтобы помочь товарищам, пострадавшим за Союз, или просто чтобы присутствовать на собраниях и манифестациях. Глубокое впечатление произвело также на меня то облагораживающее влияние, которое имел Интернационал. Большинство парижских интернационалистов не пили спиртных напитков, все оставили курение: «Зачем я стану потакать этой слабости?» – говорили они. Все мелкое, низменное исчезало, уступая место величественному и возвышенному.

Посторонние наблюдатели совершенно не способны понять, какие жертвы приносят рабочие, чтобы поддерживать движение. Уже для того, чтобы открыто присоединиться к какой-нибудь секции Интернационала, требовалось немало мужества; это значило восстановить против себя хозяина и, по всей вероятности, получить расчет при первом удобном случае, а следовательно, долгие месяцы безработицы. Но даже при наилучших условиях присоединение к рабочему союзу или к той или другой крайней партии требует целого ряда непрерывных жертв. Даже те несколько копеек, которые европейский работник дает на общее дело, чувствительно отзываются на его средствах жизни. А между тем немало копеек ему приходится давать каждую неделю. Частое посещение собраний тоже представляет собой некоторую жертву. Для нас провести вечер на митинге является даже удовольствием, но работник, трудовой день которого начинается в пять или шесть часов утра, должен отнять несколько часов своего сна, чтобы провести вечер на собрании далеко от своей квартиры.

Для меня этот ряд непрерывных жертв служил постоянным укором. Я видел, как жадно стремились рабочие к образованию, а между тем число добровольных учителей было так ничтожно, что было от чего прийти в отчаяние. Я видел, как нуждаются трудящиеся массы в помощи образованных людей, обладающих досугом, для устройства и развития их организации. Но как ничтожно было число буржуа, являвшихся с бескорыстным предложением своих услуг без желанья извлечь известные личные выгоды из самой беспомощности народа! Все больше и больше я чувствовал, что обязан посвятить себя всецело массам. Степняк в своем романе «Андрей Кожухов» говорит, что каждый революционер переживает в жизни такой момент, когда какие-нибудь обстоятельства, иногда ничтожные сами по себе, заставляют его дать себе «аннибалову клятву» беззаветно отдаться революционной деятельности. Я знаю этот момент и пережил его после одного большого собрания в Temple Unique по случаю Парижской Коммуны (18 марта). Незадолго перед этим Тьер расстрелял Росселя и Ферре. Они были расстреляны спустя почти семь месяцев после подавления Коммуны, без нужды уже, просто чтобы порадовать буржуа. Митинг 18 марта был чрезвычайно многолюден и оживлен. Рабочие были возбуждены и готовы идти в бой и жертвовать всем. Слушая ораторов из рабочей и интеллигентной среды, я в этот вечер как-то особенно почувствовал, как трусливы образованные люди, медлящие отдать массам свои знания, энергию и деятельность, в которых народ так нуждается. «Вот люди, – думал я, смотря на рабочих, – сознавшие свое рабство и стремящиеся освободиться от него. Но где помощники им? Где те, которые придут служить массам, а не для того, чтобы пользоваться ими ради собственного честолюбия?»

Возвратившись в свою комнатку в небольшом отеле возле горы, я долго не мог заснуть, раздумывая под наплывом новых впечатлений. Я все больше и больше проникался любовью к рабочим массам, и я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы – я буду с ними.

Но мало-помалу зарождалось во мне также сомнение насчет искренности пропаганды, которая велась в Temple Unique. Раз вечером хорошо известный женеvский адвокат Амберни явился на собрание и заявил, что если он до сих пор не присоединился к Интернационалу, то только потому, что ему необходимо было устроить предварительно свои собственные

денежные дела. Так как теперь он этого достиг, то намерен пристать к рабочему движению. Меня поразило цинизм этого заявления, и я сообщил свои мысли моему приятелю-каменщику. Оказалось, что на предыдущих выборах адвокат искал поддержки радикальной партии, но был разбит. Теперь он думал выехать на рабочей партии. «Покуда мы принимаем услуги подобных господ, – прибавил мой приятель, – но после социальной революции нашим первым делом будет вышвырнуть их за борт».

Вскоре вслед за тем поспешно был созван митинг для протеста, как говорили, против «Journal de Geneve». Эта газета богатых классов в Женеве писала, что в Temple Unique затевается что-то недоброе и что строительные ремесла готовят такую же общую стачку, как и в 1869 году. Поэтому вожаки Temple Unique созвали сходку. Тысячи работников наполнили зал, и Утин предложил им принять резолюцию, выражения которой показались мне очень странными: собрание приглашалось «с негодованием протестовать» против невинной, по-моему, заметки, что работники собираются устроить стачку. «Почему же эту заметку хотят назвать клеветой? – недоумевал я. – Разве в стачке есть нечто преступное?». Утин между тем торопился и закончил свою речь словами: «Если вы, граждане, согласны с моим предложением, я пошлю его сейчас же для напечатания». Он уже готов был сойти с платформы, когда кто-то заметил, что не мешало бы, однако, сперва обсудить вопрос; и тогда один за другим поднялись представители различных строительных ремесел, заявляя, что в последнее время заработная плата была так низка, что нельзя жить, что к весне предвидится много работы и что этим обстоятельством рабочие хотят воспользоваться, чтобы поднять заработок. Если же предприниматели не согласятся, то работники немедленно начнут стачку.

Я был в ярости и на другой день стал попрекать Утина за его предложение. «Как же это возможно? – говорил я. – Как вожак, вы должны были знать, что стачка действительно подготавливалась». По наивности я не понял даже истинных мотивов вожаков, и сам Утин объяснил мне, что «стачка гибельно отозвалась бы на выборах адвоката Амберни».

Я не мог согласиться этих махинаций вожаков с теми пламенными речами, которые они произносили с платформы. Я был вполне разочарован и сказал Утину, что хочу познакомиться с «бакунистами» или «федералистами», то есть с другой женевской секцией Интернационала. Слово «анархизм» тогда еще мало употреблялось. Утин тотчас же дал записку, с которой я мог пойти к Николаю Жуковскому, принадлежавшему к «бакунистам».

Жуковский принял меня дружески и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться с идеями и с борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвилле.

Я решил ехать. Пошел проститься с Утиным. Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать...

# IX. У юрских рабочих часового дела. Начало анархизма. Невшательские друзья. Коммунары-эмигранты

Я поехал сперва в Невшатель и провел затем около недели среди часовщиков в Юрских горах. Таким образом я впервые познакомился с знаменитой Юрской федерацией, которая впоследствии сыграла такую видную роль в развитии социализма, введя в него принцип отрицания правительства, то есть анархии.

В 1872 году Юрская федерация восстала против авторитета Генерального совета Интернационала. Великий Международный союз был вполне рабочим движением, и сами рабочие так и смотрели на него, вовсе не считая свой Союз политической партией. В Восточной Бельгии, например, работники внесли в устав параграф, в силу которого не занимающийся ручным трудом не мог быть членом секции. Даже нарядчики не допускались. Кроме того, рабочие были вполне федералистами. Каждая нация, каждая отдельная область и даже каждая отдельная секция должны были пользоваться единою самобытностью развития. Но буржуазные революционеры старой школы, вступившие в Интернационал и проникнутые понятиями о централизованных пирамидальных тайных обществах прежних времен, ввели те же понятия в Международный союз рабочих.

Кроме федеральных и национальных советов был выбран в Лондоне Генеральный совет, который становился посредником между различными национальностями. Маркс и Энгельс были его руководителями. Скоро, однако, выяснилось, что самый факт существования подобного центрального совета влечет за собою весьма большие неудобства. Генеральный совет не удовлетворялся ролью центрального бюро для сношений. Он стремился захватить все движение в свои руки, то одобряя, то порицая деятельность не только различных секций и федераций, но и отдельных членов. Когда началось восстание Коммуны в Париже и вождям приходилось лишь следовать за движением, не зная, куда оно их приведет на следующий день, Генеральный совет непременно хотел руководить ходом дел, сидя в Лондоне. Он требовал ежедневных рапортов, отдавал приказы, одобрял, делал внушения и, таким образом, наглядно доказывал, как невыгодно иметь правительственное ядро. Невыгода стала еще более очевидна, когда Генеральный совет созвал позднее тайный съезд в 1871 году и, поддерживаемый немногими делегатами, решил повернуть все силы Интернационала на выборную политическую агитацию. Многие увидели тогда всю нежелательность правительства, как бы демократично ни было его происхождение. Так начинался современный анархизм, и Юрская федерация стала центром его развития.

В Юрских горах не было того разобщения между вожаками и работниками, которое я заметил в Женеве, в Temple Unique. Конечно, некоторые члены были более развиты, а главное, более деятельны, чем другие, но этим и ограничивалась вся разница. Джемс Гильом, один из наиболее умных и широко образованных людей, которых я когда-либо встречал, служил корректором и управляющим в маленькой типографии. Зарабатывал он

этим так мало, что должен был еще по ночам переводить с немецкого на французский язык романы.

Когда я приехал в Невшатель, Гильом выразил мне сожаление, что не может уделить нашей беседе больше часа или двух. Их типография в этот день выпускала первый номер местной газеты, и Гильом не только редактировал и корректировал ее, но должен был еще надписывать по три тысячи адресов для первых номеров и заклеивать бандероли.

Я вызвался помочь ему писать адреса, но ничего не выходило. Гильом либо хранил адреса в памяти, либо отмечал их одной-двумя буквами на лоскутках бумаги.

– Нечего делать, – сказал я. – В таком случае я приду после обеда в типографию и стану заклеивать бандероли, а вы уделите мне то время, которое я вам сберегу.

Мы поняли друг друга, обменялись крепкими рукопожатиями и с этого времени у нас завязалась крепкая дружба. Мы провели несколько часов в типографии. Гильом надписывал адреса, я заклеивал бандероли, а один из наборщиков, коммунар, болтал с нами обоими, быстро набирая в то же время какую-то повесть. Беседу он пересыпал фразами из набираемого оригинала, которые прочитывал вслух. Выходило приблизительно так:

– На улицах началась жаркая схватка... – «Дорогая Мария, люблю тебя...» – Работники были разъярены и на Монмартре дрались как львы... – «И он упал перед ней на колени...» – И они отстаивали свое предместье целых четыре дня. Мы знали, что Галифэ расстреливает всех пленных, и поэтому дрались с еще большим упорством... – И так далее. Рука его быстро летала по кассе.

Было уже очень поздно, когда Гильом снял наконец рабочую блузу. И тогда мы могли побеседовать по душам часа два, пока ему не пришла пора снова приняться за работу. Он редактировал «Бюллетень Юрской федерации».

В Невшателе я познакомился также с Бенуа Малонем. Он родился в деревне и в молодости был пастухом. Впоследствии он перебрался в Париж, где и выучился ремеслу плести корзины. Вместе с переплетчиком Варлэном и столяром Пэнди он стал всем известен как один из наиболее видных деятелей Интернационала в период преследования его наполеоновским правительством (в 1869 году). Эти трое положительно полонили сердца парижских работников, и, когда началось восстание Коммуны, Варлэн, Пэнди и Малон подавляющим большинством были избраны членами в Совет Коммуны. Малон был также мэром одного из парижских округов. Теперь, когда я с ним познакомился в Швейцарии, он перебивался плетением корзин. За несколько су в месяц он снимал за городом, на склоне горы, небольшой открытый навес, откуда во время работы мог любоваться великолепным видом на Невшательское озеро. Ночью же он писал письма и статьи для рабочих газет и составлял книгу о Коммуне. Таким образом, понемногу он стал писателем.

Я навещал его каждый день, чтобы послушать рассказы о Коммуне этого широколицего, трудолюбивого, слегка поэтического, спокойного и чрезвычайно добродушного революционера. Он принимал деятельное участие в восстании и теперь заканчивал книгу о нем под заглавием: «Третье поражение французского пролетариата».

Раз утром, когда я взбирался к навесу, сияющий Малон встретил меня восклицанием: «А знаете, Пэнди жив! Вот письмо от него. Он в Швейцарии!» Про Пэнди ничего не было слышно с 25 или 26 мая, когда его видели в последний раз в Тюильри. Думали, что он расстрелян, между тем как он все это время скрывался в Париже. Не переставая гнуть ивняк, Малон тихим голосом, в котором лишь порой слышалась дрожь, рассказывал мне, сколько человек версальцы расстреляли, принимая их за Пэнди, за Варлэна или за него самого. Он передал мне то, что знал про смерть переплетчика Варлэна, которого парижские рабочие боготворили, про старого Делеклюза, не желавшего пережить нового поражения, и про многих других. Все ужасы кровавой масленицы, которой богатые классы отпраздновали свое возвращение в Париж, проходили передо мною, а затем – дух мщениия, вызванный ими в толпе, предводимой Раулем Риго, которая и расстреляла заложников Коммуны.

Губы Малона дрожали, когда он говорил про героизм парижских мальчуганов, и слезы капали у него из глаз, когда он рассказывал мне про одного мальчика, которого версальцы собрались расстрелять. Перед смертью мальчик обратился к офицеру с просьбой позволить ему снести серебряные часы матери, жившей неподалеку. Тогда офицер из жалости дал разрешение, надеясь, вероятно, что мальчик не возвратится. Но через четверть часа маленький герой прибежал и, ставши у стены среди трупов, крикнул им: «Я готов».

Двенадцать пуль пресекли его молодую жизнь. Кажется, никогда я не испытал такого нравственного страдания, как при чтении ужасной книги «Le Livre rouge de la Justice rurale»[20]. Она была составлена исключительно из парижских корреспонденции, помещенных в «Standard», «Daily Telegraph», «Times»[21] в конце мая 1871 года, в которых говорилось об ужасах, совершенных версальцами под начальством Галифэ, а также приводились выдержки из «Figaro»[22], пропитанные самою ярою кровожадностью по отношению к инсургентам. Мною овладевало мрачное отчаяние. И оно сохранилось бы, если бы впоследствии в побежденных, переживших все эти ужасы, я не видел полного отсутствия ненависти; веры в окончательное торжество идеала; спокойного, хотя грустного, взгляда, обращенного к будущему; стремления забыть кошмар прошлого – словом, всех тех черт, которые поражали меня не только в Малоне, но во всех коммунарах, живших в Женеве, а также во всех тех, кого я встретил впоследствии: Луизе Мишель, Лефрансэ, Элизэ Реклю и других.

– Nous avons subi une terrible defaite. La Commune est ecrasee mais non vaincue[23], – говорили они и принимались за самую тяжелую и черную работу в ожидании лучших дней.

Из Невшателя я поехал в Сонвильё. Здесь, в маленькой долине среди Юрских гор, разбросан ряд городков и деревень, французское население которых тогда исключительно было занято различными отраслями часового дела. Целые семьи работали сообща в мастерских. В одной из них я познакомился с другим вожаком, Адэмаром Швицгебелем, с которым впоследствии очень сблизился. Я нашел его в мастерской среди десятка других молодых людей, гравировавших крышки золотых и серебряных часов. Меня пригласили присесть на скамье или на столе, и скоро у нас завязался оживленный разговор о социализме, о том, нужно ли или не нужно правительство, о приближавшемся съезде.

В тот вечер бушевала жестокая метель. Снег слепил нас, а холод «вымораживал кровь в жилах», покуда мы плелись до ближайшей деревни, где должна была собраться сходка, но, несмотря на метель, из соседних городков и деревень там собралось около пятидесяти часовщиков, главным образом все пожилые люди. Некоторым из них пришлось пройти до десяти верст, и все-таки они не захотели пропустить маленького очередного собрания, созванного на тот вечер, чтобы познакомиться с русским товарищем.

Самой организацией часового дела, дающей возможность людям отлично узнать друг друга и работать на дому, где они могут свободно беседовать, объясняется, почему в умственном развитии местное население стоит выше, чем работники, проводящие с детства всю свою жизнь на фабриках. Юрские часовщики действительно отличаются большою самобытностью и большою независимостью. Но также и отсутствием разделения на вожаков и рядовых объяснялось то, что каждый из членов федерации стремился к тому, чтобы самому выработать собственный взгляд на всякий вопрос. Здесь работники не представляли стада, которым вожаки пользовались бы для своих политических целей. Вожаки здесь просто были более деятельные товарищи, скорее люди почина, чем руководители. Способность юрских работников, в особенности средних лет, схватить самую суть идеи и их умение разбираться в самых сложных общественных вопросах произвели на меня глубокое впечатление, и я твердо убежден, что если Юрская федерация сыграла видную роль в развитии социализма, то не только потому, что стала проводником безгосударственной и федералистической идеи, но еще и потому, что этим идеям дана была конкретная форма здравым смыслом юрских часовщиков. Без нее они, вероятно, еще долго оставались бы в области чистой отвлеченности.

Теоретические положения анархизма, как они начинали определяться тогда в Юрской федерации, в особенности Бакуниным, критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм еще более страшный, чем политический, и, наконец, революционный характер агитации среди юрцев неотразимо действовали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражения их, которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом.

После путешествия в Бельгию, где я мог сравнить централистическую политическую агитацию в Брюсселе с независимой и экономической агитацией, которая шла среди суконщиков в Вервье, мои воззрения еще более окрепли. Эти суконщики принадлежали к числу самых симпатичных групп людей, которых я встречал за границей.

## Х. Влияние Бакунина.

### Социалистическая программа

Бакунин в то время жил в Локарно. Я не видел его и теперь крайне сожалею о том, потому что, когда через четыре года я снова очутился в Швейцарии, его уже не было в живых. Он помог юрским друзьям разобраться в мыслях и точно выразить свои стремления; он сумел вселить в них могучий, непреодолимый, революционный энтузиазм. Как только Бакунин усмотрел в маленькой газете, издаваемой Гильомом в Юрских горах (в Локле), новую, независимую струю в социалистическом течении, он тотчас же приехал в Локль. Целые дни и ночи беседовал он с новыми своими друзьями об исторической необходимости нового движения в сторону анархии. В газете он начал ряд глубоких и блестящих статей об историческом поступательном движении человечества к свободе. Он вселил в своих друзей энтузиазм и создал тот центр пропаганды, из которого впоследствии анархизм распространился по всей Европе.

После того как Бакунин переселился в Локарно, он создал подобное же движение в Италии и в Испании (при помощи симпатичного, талантливое эмиссара Фанелли). Работу же, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто поминали Мишеля, но говорили о нем не как об отсутствующем вожде, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Поразило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета.

В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слышал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили: «Бакунин сказал то-то» или: «Бакунин думает так-то». Его писания и изречения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожалению, это часто наблюдается в современных политических партиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьей, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Бакуниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских друзей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.

– Жаль, что нет здесь Мишеля! – воскликнула одна из присутствовавших. – Он бы вам задал!  
– И все примолкли.

Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни.

Я возвратился из этой поездки с определенными социалистическими взглядами, которых я держался с тех пор, усиленно стараясь развивать их и облечь в более определенную и конкретную форму.

Был, однако, один пункт, который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества – все равно будет ли то народное государство социал-демократов или же союз свободных групп, как хотят анархисты, – не могут свершиться без

великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время Французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем в великой социальной революции народу придется бороться с противником гораздо более сильным умственно и физически – с средними классами, которые имеют притом в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства.

Но я скоро заметил, что никакой революции – ни мирной, ни кровавой – не может совершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что, если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, вызванной революциями 1793 и 1848 годов), освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве права, а довольствуются обсуждением своевременности преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают, действительно ли новый экономический строй, предлагаемый социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?

Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции, то есть периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быстрых перемен, так же сообразны с природой человеческого общества, как и медленная, постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции – ее не избежать, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее передовые элементы из самих правящих классов.

Парижская Коммуна – страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов. Когда в марте 1871 года работники стали хозяевами Парижа, они не только не тронули права собственности буржуазии, но даже охраняли их. Вожди Коммуны грудью покрывали Национальный банк. Несмотря на кризис, парализовавший промышленность, и последовавшую от того безработицу, Коммуна своими декретами охраняла права владельцев фабрик, торговых учреждений и жилых помещений города Парижа. Между тем, несмотря на это, когда движение было подавлено, буржуазия не зачла бунтовщикам скромности их требований. Проживши два месяца в постоянном страхе, что коммунары посягнут на их права собственности, версальцы, когда они взяли Париж, стали мстить, как будто это покушение уже было совершено. Около тридцати тысяч рабочих, как известно,

было перебито не в сражении, а после того как сражение было кончено. Вряд ли месть могла быть ужаснее, если бы Коммуна приняла самые решительные меры к социализации собственности.

Если в развитии человеческого общества, рассуждал я, существуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величиим открывающегося горизонта.

В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей, ибо в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям.

Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию.

## XI. Краков. Переговоры с контрабандистами. Перевозка книг через границу

Во время поездки я накупил много книг и собрал коллекцию социалистических газет. В России, конечно, все они были, безусловно, запрещены цензурой. Некоторые газеты и отчеты международных съездов ни за какие деньги нельзя было бы приобрести даже в Бельгии. «Неужели так и бросить литературу, – думал я, – которой в Петербурге так были бы рады брат Александр и мои друзья?» Я решил во что бы то ни стало перевезти книги в Россию.

Возвращался я в Петербург через Вену и Варшаву. Тысячи евреев живут на нашей западной границе контрабандой, и я не без основания думал, что, если найду хоть одного из них, мои книги будут переправлены благополучно через границу. Но сойти на маленькой станции близ границы и там разыскивать контрабандиста было бы неблагоприятно. Тогда я свернул с прямой дороги в Краков. «Столица старой Польши близка к границе, – думал я. – Там, вероятно, я раздобуду еврея, который меня сведет с необходимыми людьми».

Я прибыл в знаменитую некогда столицу вечером, а на другой день рано утром отправился из гостиницы на поиски. Велико, однако, было мое смущение, когда на каждом углу и всюду на пустынной базарной площади я встречал еврея с пейсами, в традиционном долгополом кафтане, выглядывавшего какого-нибудь пана или купца, которые послали бы его с поручением и дали бы заработать несколько грошей. Мне нужен был один еврей, а тут их оказалась целая куча. К кому же обратиться? Я обошел весь город и наконец в отчаянии решил обратиться к еврею, стоявшему у дверей моей гостиницы, громадного старинного палаца, в залах которого когда-то танцевали толпы изящных дам и галантных кавалеров. Теперь старинный дворец исполнял более прозаическое назначение, давая убежище редким и случайным проезжающим. Я объяснил фактору, что желаю переправить в Россию довольно тяжелую пачку книг и газет.

– То пану зараз будет сделано. Я приведу комиссионера от «Главной компании международного обмена тряпок и костей» (скажем так). Она ведет самую широкую контрабанду во всем мире. Комиссионер послужит господину.

Через полчаса фактор действительно возвратился с «комиссионером», изящным молодым человеком, отлично говорившим по-русски, польски и немецки.

«Комиссионер» осмотрел мой узел, взвесил его на руках и спросил, какого рода эти книги?

– Все они строжайше запрещены в России. Потому-то их и нужно переправить контрабандой.

– Собственно говоря, книгами мы не занимаемся, – ответил он. – Наше дело – шелковый товар. Если я стал бы платить нашим людям по весу, как за шелк, то должен был бы запросить с вас совсем не подходящую цену. На придачу, скажу вам правду, не люблю я путаться с книгами. Случись, не дай бог несчастье, так «они» сделают политический процесс. «Международная компания тряпок и костей» должна тогда будет заплатить громадные деньги, чтобы выпутаться из истории.

Должно быть вид у меня был очень опечаленный, потому что элегантный «комиссионер» сейчас же прибавил:

– Не огорчайтесь. Он (то есть фактор) устроит это дело для вас другим путем.

– То чистая правда! – весело заметил фактор, когда комиссионер ушел. – Найдем сто дорог, чтобы угодить пану.

Через час он возвратился с другим молодым человеком, который взял узел, сложил его возле дверей и сказал:

– Добре, если пан выедет завтра, он найдет свои книги на такой-то станции в России. – Он объяснил мне подробно все.

– А сколько это будет стоить? – спросил я.

– А сколько пан хочет дать? – ответил он.

Я высыпал на стол все, что у меня было в кошельке, и сказал:

– Вот столько-то мне на дорогу. Остальные вам. Я поеду в третьем классе.

– Ай, ай, ай! – закрутили разом головами и фактор, и молодой человек. – Разве это можно, чтобы такой пан ехал третьим классом? Никогда! Нет, нет, нет!.. Для нас – десять рублей; потом фактору – два рубля, если вы довольны им. Мы не грабители какие-нибудь, а честные люди! – Они наотрез отказались взять больше денег.

Мне часто приходилось слышать с тех пор о честности еврейских контрабандистов на северо-западной границе. Впоследствии, когда наш кружок ввозил много книг из-за границы, а затем еще позже, когда так много революционеров переправлялось в Россию и из России, не было ни одного случая, чтобы контрабандист выдал кого-нибудь или чтобы он воспользовался исключительностью положения для вымогательства чрезмерной платы.

На другой день я выехал из Кракова. На условленной станции в России к моему вагону подошел носильщик и сказал так громко, чтобы его мог слышать стоявший на платформе жандарм: «Вот чемодан, который ваше сиятельство оставил вчера». Он вручил мне мой ценный пакет.

Я так был ему рад, что даже не остановился в Варшаве, а прямо отправился в Петербург, чтобы показать мои трофеи брату.

## ХII. Нигилизм. Его презрение к условностям, его правдивость.

### Движение «в народ»

В это время развивалось сильное движение среди русской интеллигентной молодежи. Крепостное право было отменено. Но за два с половиной века существования оно породило целый мир привычек и обычаев, созданных рабством. Тут было и презрение к человеческой личности, и деспотизм отцов, и лицемерное подчинение со стороны жен, дочерей и сыновей. В начале XIX века бытовой деспотизм царил и в Западной Европе. Массу примеров дали Теккереи и Диккенс, но нигде он не расцвел таким пышным цветом, как в России. Вся русская жизнь – в семье, в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику – была проникнута им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросший на почве бесправия. Даже лучшие люди того времени платили широкую дань этим нравам крепостного права.

Против них закон был бессилён. Лишь сильное общественное движение, которое нанесло бы удар самому корню зла, могло преобразовать привычки и обычаи по вседневной жизни. И в России это движение – борьба за индивидуальность – приняло гораздо более мощный

характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было. Тургенев в своей замечательной повести «Отцы и дети» назвал его нигилизмом.

В Западной Европе нигилизм понимается совершенно неверно; в печати, например, постоянно смешивают его с терроризмом и упорно называют нигилизмом то революционное движение, которое вспыхнуло в России к концу царствования Александра II и закончилось трагической его смертью. Все это основано на недоразумении. Смешивать нигилизм с терроризмом все равно что смешать философское движение, как, например, стоицизм или позитивизм, с политическим движением, например республиканским. Терроризм был порожден особыми условиями политической борьбы в данный исторический момент. Он жил и умер. Он может вновь воскреснуть и снова умереть. Нигилизм же наложил у нас свою печать на всю жизнь интеллигентного класса, а эта печать не скоро изгладится. Нигилизм без его грубоватых крайностей, неизбежных, впрочем, в каждом молодом движении, придал нашей интеллигенции тот своеобразный оттенок, которого, к великому нашему сожалению, мы, русские, не находим в западноевропейской жизни. Тот же нигилизм в одном из своих многочисленных проявлений придает многим нашим писателям их искренний характер, их манеру «мыслить вслух», которые так поражают европейских читателей.

Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам – и требовал, чтобы то же сделали другие, – от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет – разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован.

Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист. Он щадил, конечно, простую и искреннюю веру, являющуюся психологической необходимостью чувства, но зато беспощадно боролся с лицемерием в христианстве.

Вся жизнь цивилизованных людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки; нигилист же улыбался лишь тем, кого он рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, претили ему. Он усвоил себе несколько грубоватые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сентименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. И они восстали против этого сентиментализма, отлично уживавшегося с вовсе не идеальным строем русской жизни. Искусство тоже подпало под это широкое отрицание. Нигилисту были противны бесконечные толки о красоте, об идеале, искусстве для искусства, эстетике и тому подобном, тогда как и всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у голодающих крестьян или у обираемых работников. Он знал, что так называемое поклонение прекрасному часто было лишь маской, прикрывавшей пошлый разврат. Нигилист тогда еще отлил беспощадную критику искусства в одну формулу: «Пара сапог важнее всех ваших мадонн и всех утонченных разговоров про Шекспира».

Брак без любви и брачное сожитие без дружбы нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном домике и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить свои наряды и уйти из дома. Она надевала самое простое, черное шерстяное платье, остригала волосы и поступала на высшие курсы с целью добиться личной независимости. Женщина, видевшая, что брак перестал быть браком, что ни любовь, ни дружба не связывают ее больше с мужем, порывала со всем и мужественно уходила с детьми, предпочитая одиночество и зачастую нищету вечной лжи и разладу с собою.

Нигилист вносил свою любовь к искренности даже в мелкие детали повседневной жизни. Он отказался от условных форм светской болтовни и выражал свое мнение резко и прямо, даже с некоторой аффектацией внешней грубоватости.

В Иркутске мы собирались раз в неделю в клубе, где танцевали. Одно время я усердно посещал эти вечера, но потом мало-помалу отстал, отчасти из-за работы. Раз как-то одна из дам спросила моего молодого приятеля, почему это меня не видно в клубе уже несколько недель.

– Когда Кропоткину нужен моцион, он ездит верхом, – грубовато отрубил приятель.

– Почему же ему не заглянуть и не посидеть с нами, не танцуя? – вставила одна из дам.

– А что ему здесь делать? – отрезал по-нигилистичьи мой друг. – Болтать с вами про моды и тряпки? Вся эта дребедень уже надоела ему.

– Но ведь он бывает иногда у Манечки такой-то, – нерешительно заметила одна из барышень.

– Да, но она занимающаяся девушка, – отрубил приятель. – Он дает ей уроки немецкого языка.

Должен сказать, что эта, бесспорно, грубоватая отповедь имела благие результаты. Большинство иркутских девушек скоро стало осаждать брата, нашего приятеля и меня просьбами посоветовать им, что читать и чему учиться.

С той же самой откровенностью нигилист отрезывал своим знакомым, что все их соблезнования о «бедном брате» – народе – одно лицемерие, покуда они живут в богато убранных палатах, на счет народа, за который так болеют душой. С той же откровенностью нигилист заявлял крупному чиновнику, что тот не только не заботится о благе подчиненных, а попросту вор.

С некоторой суровостью нигилист дал бы отпор и «даме», болтающей пустяки и похваляющейся «женственностью» своих манер и утонченностью туалета. Он прямо сказал бы ей: «Как вам не стыдно болтать глупости и таскать шиньон из фальшивых волос?» Нигилист желал прежде всего видеть в женщине товарища, человека, а не куклу, не «кисейную барышню». Он абсолютно отрицал те мелкие знаки внешней вежливости, которые оказываются так называемому слабому полу. Нигилист не срывался с места, чтобы предложить его вошедшей даме, если он видел, что дама не устала и в комнате есть еще

другие стулья. Он держался с ней как с товарищем. Но если девушка, хотя бы и совершенно ему незнакомая, проявляла желание учиться чему-нибудь, он помогал ей уроками и готов был хоть каждый день ходить на другой конец города. Молодой человек, который пальцем не шевельнул бы, чтобы подвинуть барышне чашку чая, охотно передавал девушке, приехавшей на курсы в Москву или в Петербург, свой единственный урок и свой единственный заработок, причем говорил: «Нечего благодарить: мужчине легче найти работу, чем женщине, вовсе не рыцарство, а простое равенство».

И Тургенев, и Гончаров пытались изобразить этот новый тип в своих романах. Гончаров в «Обрыве» дал портрет с живого лица, но вовсе не типичного представителя класса; поэтому Марк Волохов только карикатура на нигилизм. Тургенев был слишком тонкий художник и слишком уважал новый тип, чтобы быть способным на карикатуру, но и его Базаров не удовлетворял нас. Мы в то время нашли его слишком грубым, например, в отношениях к старикам-родителям, а в особенности мы думали, что он слишком пренебрег своими обязанностями как гражданин. Молодежь не могла быть удовлетворена исключительно отрицательным ко всему отношением тургеневского героя. Нигилизм с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению «новых людей», не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе «Что делать?», мы уже видели лучшие портреты самих себя.

Но «горек хлеб, возделанный рабами», – писал Некрасов. Молодое поколение отсеклось от этого хлеба и от богатств, накопленных отцами при помощи подневольного труда людей – крепостных или закабаленных на фабрике.

Вся Россия читала с удивлением во время процесса каракозовцев, что подсудимые, владевшие значительными состояниями, жили по три, по четыре человека в одной комнате, никогда не расходовали больше чем по десяти рублей в месяц на каждого и все состояние отдавали на устройство кооперативных обществ, артелей, в которых сами работали. Пять лет спустя тысячи молодых людей, цвет России, поступили так же. Их лозунг был «в народ». В начале шестидесятых годов почти в каждой богатой семье происходила упорная борьба между отцами, желавшими поддержать старые порядки, и сыновьями и дочерьми, отстаивавшими свое право располагать собою согласно собственным идеалам. Молодые люди бросали военную службу, конторы, прилавки и стремились в университетские города. Девушки, получившие аристократическое воспитание, приезжали без копейки в Петербург, Москву и Киев, чтобы научиться делу, которое могло бы их освободить от неволи в родительском доме, а впоследствии, может быть, и от мужского ярма. Многие из них добились этой личной свободы после упорной и суровой борьбы. Теперь они жаждали приложить с пользой приобретенное знание; они думали не о личном удовольствии, а о том, чтобы дать народу то знание, которое освободило их самих.

Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития. Здесь тщательно изучали труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было разрешить великий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем может она быть наиболее полезна народу? И постепенно она приходила к выводу, что существует лишь

один путь. Нужно идти в народ и жить его жизнью. Молодые люди отправлялись поэтому в деревню как врачи, фельдшеры, народные учителя, волостные писаря. Чтобы еще ближе соприкоснуться с народом, многие пошли в чернорабочие, кузнецы, дровосеки. Девушки сдавали экзамены на народных учительниц, фельдшериц, акушеров и сотнями шли в деревню, где беззаветно посвящали себя служению беднейшей части народа.

У всех их не было никакой еще мысли о революции, о насильственном перестройстве общества по определенному плану. Они просто желали обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему каким-нибудь образом выбраться из тьмы и нищеты и в то же время узнать у самого народа, каков его идеал лучшей социальной жизни.

Когда я возвратился из Швейцарии, то нашел это движение в полном разгаре.

## XIII. Кружок «чайковцев». Дмитрий, Сергей, Софья Перовская, Чайковский

Я поспешил, конечно, поделиться с друзьями моими книгами и впечатлениями, вынесенными из знакомства с Интернационалом. Собственно говоря, в университете у меня не было друзей: я был старше большинства моих товарищей, а среди молодых людей разница в несколько лет всегда является помехой тесному сближению. Нужно также прибавить, что, с тех пор как был введен устав 1861 года, лучшие молодые люди, то есть наиболее развитые и независимые, отсеивались в гимназиях и не допускались в университет. Поэтому большинство моих товарищей были хорошие юноши, трудолюбивые, но они не интересовались ничем, кроме экзаменов. Я подружился только с одним Дмитрием Клеменцом. Он был родом из Южной России и, хотя носил немецкую фамилию, вряд ли говорил по-немецки, а в типичном его лице не было ничего тевтонского. Он был развитой, начитанный человек и много думал, очень любил науку и глубоко уважал ее, но подобно большинству из нас скоро пришел к заключению, что стать ученым – значит перейти в стан филистеров, тогда как впереди такое множество другой, не терпящей отлагательства работы. Он посещал университет около двух лет, затем бросил его и весь отдался социальной деятельности. Жил он бог весть как. Сомневаюсь даже, была ли у него постоянная квартира. Иногда он приходил ко мне и спрашивал: «Есть у вас бумага?» Забрав запас ее, он примащивался где-нибудь у края стола и прилежно переводил часа два. То немногое, что он зарабатывал подобным образом, с избытком покрывало его скромные потребности, и, кончив работу, Клеменц плелся на другой конец города, чтобы повидаться с товарищами или помочь нуждающемуся приятелю. Он готов был исколесить весь Петербург пешком, чтобы выхлопотать прием в гимназию какого-нибудь мальчика, в котором товарищи принимали участие. Он, несомненно, был очень талантлив. В Западной Европе гораздо менее одаренный человек, чем он, наверное, стал бы видным политическим или социалистическим вождем. Но мысль о главенстве никогда не приходила ему в голову. Честолюбие было ему совершенно чуждо, зато я не знаю такой общественной работы, которую Дмитрий считал бы слишком мелкой. Впрочем, эта черта была свойственна не только ему одному. Ею отличались все те, которые в то время вращались в студенческих кружках.

Вскоре после моего возвращения из-за границы Дмитрий предложил мне поступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского. Под этим именем он сыграл важную роль в социальном развитии России и под тем же именем перешел в историю.

– Члены нашего кружка большею частью конституционалисты, – сказал мне Клеменц, – но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей повсюду в России; вы сами увидите впоследствии, что можно сделать.

Я был уже знаком с Н. В. Чайковским и некоторыми членами его кружка. Чайковский произвел на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до настоящего времени, в продолжение многих лет, наша дружба не поколебалась.

Кружок возник из очень небольшой группы мужчин и женщин (в числе последних были Софья Перовская и три сестры Корниловы), соединившихся для самообразования и самоусовершенствования. В 1869 году Нечаев попытался организовать тайное революционное общество из молодежи, желавшей работать среди народа. Но для достижения своей цели он прибег к приему старинных заговорщиков и не останавливался даже перед обманом, чтобы заставить членов общества следовать за собою. Такие приемы не могут иметь успеха в России, и скоро нечаевская организация рухнула. Всех членов арестовали; несколько лучших людей из русской интеллигенции сослали в Сибирь, прежде чем они успели сделать что-нибудь. Кружок саморазвития, о котором я говорю, возник из желания противодействовать нечаевским способам деятельности. Чайковский и его друзья рассудили совершенно верно, что нравственно развитая личность должна быть в основе всякой организации независимо от того, какой бы политический характер она потом ни приняла и какую бы программу деятельности она ни усвоила под влиянием событий. Вот почему кружок Чайковского, постепенно раздвигая свою программу, так широко распространился по России и достиг таких серьезных результатов. Поэтому также впоследствии, когда свирепые преследования со стороны правительства породили революционную борьбу, кружок выдвинул ряд выдающихся деятелей и деятельниц, павших в бою с самодержавием.

В то время, то есть в 1872 году, кружок не имел в себе ничего революционного. Если бы он остался простым кружком саморазвития, то члены его скоро закаменели бы, как в ските. Но кружок нашел подходящую работу. Чайковцы стали распространять хорошие книги. Они покупали целыми изданиями сочинения Лассаля, Флеровского-Берви («О положении рабочего класса в России»), Маркса, труды по русской истории и распространяли их среди студентов в провинциальных городах. Через несколько лет в «тридцати восьми губерниях Российской империи», употребляя подсчет обвинительного акта, не было сколько-нибудь значительного города, где кружок не имел бы товарищей, занимавшихся распространением этого рода литературы. С течением времени под влиянием общего хода событий и побуждаемый вестями, прибывавшими из Западной Европы, о быстром росте рабочего движения кружок все больше становился центром социалистической пропаганды среди учащейся молодежи и естественным посредником между членами провинциальных кружков. А затем наступил день, когда преграда, отделявшая студентов от работников, рухнула и завязались прямые сношения с петербургскими и отчасти провинциальными

рабочими. В это самое время, весной 1872 года, я присоединился к кружку.

Мои читатели в Западной Европе, вероятно, немало были разочарованы, когда узнали, что принятие в тайное общество не сопровождалось никакими клятвами и обрядами, о которых так много наговорили им романисты. Ничего этого, конечно, не было. Даже одна мысль о ритуале приема насмешила бы нас и вызвала бы со стороны Клеменца такую саркастическую усмешку, от которой любитель церемоний, если бы такой нашелся, устыдился бы. У кружка даже не было устава. В члены принимались только хорошо известные люди, испытанные много раз, так что им можно было безусловно доверять. Прежде чем принять нового члена, характер его обсуждался со всею откровенностью, присущею нигилистам.

Малейший признак неискренности или сомнения – и его не принимали. Чайковцы не гнались за тем, чтобы набрать побольше членов. Тем меньше стремились они к тому, чтобы непременно руководить всеми многочисленными кружками, зарождавшимися в столицах и в провинции, и взять, так сказать, на откуп все движение среди молодежи. С большинством из кружков мы были в дружеских сношениях; мы помогали им, и они помогали нам; но мы не покушались на их независимость.

Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью.

## XIV. Политические и социалистические течения. Александр II и революционеры

Когда я присоединился к чайковцам, они горячо спорили о том, какой характер следует придать их деятельности. Некоторые стояли за революционную и социалистическую пропаганду среди учащейся молодежи. Другие же держались того мнения, что у кружка должна быть одна цель – подготовить людей, которые могли бы поднять громадную, косную рабочую массу, а потом стояли бы за перенесение центра агитации в среду крестьян и городских работников. Такие же споры шли во всех кружках и группах, которые тогда возникали в Петербурге и в провинциальных городах. И всюду сторонники второй программы брали верх.

Впрочем, когда мне поручили составить программу нашего кружка и я ставил целью движения крестьянские восстания и намечал захват земли и всей собственности, на моей стороне были только Перовская, Кравчинский, Чарушин и Тихомиров. Но все мы были социалистами.

Если бы молодежь того времени была только за абстрактный социализм, она удовлетворилась бы тем, что выставила бы несколько общих принципов, например о желательности в более или менее отдаленном будущем коммунистического владения

орудиями производства, а затем занялась бы политической агитацией. В Западной Европе и Америке так именно и поступают социалисты, вышедшие из средних классов. Но русская молодежь того времени подошла к социализму совсем иным путем. Молодые люди не строили теории социализма, а становились социалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу товарищей между «моим» и «твоим» и отказываясь лично пользоваться состояниями, полученными по наследству. Они поступали по отношению к капитализму так, как, по совету Толстого, следует поступить по отношению к войне, то есть вместо того, чтобы критиковать войну и в то же время носить мундир, каждый должен отказаться от военной службы и от ношения оружия. Таким же образом молодые люди, каждый и каждая за себя, отказывались от пользования доходами родителей. Такая молодежь неизбежно должна была пойти в народ – и она пошла. Тысячи молодых людей и девушек уже оставили дома своих родителей и жили в деревнях и в фабричных городах под всевозможными лицами. Это не было организованное движение, а стихийное, одно из тех массовых движений, которые наблюдаются в моменты пробуждения человеческой совести. Теперь, когда начали возникать небольшие организованные кружки, готовившиеся сделать систематическую попытку распространения идей свободы и революции, самая сила вещей толкнула их на путь пропаганды среди крестьян и городских рабочих.

Различные писатели пробовали объяснить движение в народ влиянием извне. Влияние эмигрантов – любимое объяснение всех полиций всего мира. Нет никакого сомнения, что молодежь прислушивалась к мощному голосу Бакунина; верно также и то, что деятельность Интернационала производила на нас чарующее впечатление. Но причины движения в народ лежали гораздо глубже. Оно началось раньше, чем «заграничные агитаторы» обратились к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала. Оно обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах. В кружке чайковцев я всеми силами содействовал развитию этого уже наметившегося движения; но в этом отношении мне приходилось только плыть по течению, которое было гораздо сильнее, чем усилия отдельных личностей.

Конечно, мы часто говорили также о необходимости политической агитации против самодержавия. Мы видели, что крестьяне совершенно разорены чрезмерными податями и продажей скота для покрытия недоимок. Мы, мечтатели, тогда уже предвидели то полное обнищание всего населения, которое, увы! теперь стало совершившимся фактом, охватило большую часть Средней России и признается ныне даже правительством[24].

Мы знали, какой наглый грабеж идет повсеместно в России. Мы знали о произволе чиновников, о почти невероятной грубости многих из них, и каждый день приносил нам новые факты в этом направлении. Мы постоянно слышали о ночных обысках, об арестованных друзьях, которых гноили по тюрьмам, а потом ссылали административным порядком в глухие поселки на окраинах России. Мы сознавали поэтому необходимость политической борьбы против этой страшной власти, убивавшей лучшие умственные силы страны. Но мы не видели никакой почвы, легальной или полуполитической, для подобной борьбы.

Наши старшие братья не признавали наших социалистических стремлений, а мы не могли поступиться ими. Впрочем, если бы некоторые из нас и отреклись от этих идеалов, то и то

бы не помогло. Все молодое поколение огулом признавалось «неблагонадежным», и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним. Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились на таких признаках, как синие очки, подстриженные волосы и плед. Если к студенту часто заходили товарищи, то полиция уже, наверное, производила обыск в его квартире. Обыски студенческих квартир производились так часто, что Клеменц со своим обычным добродушным юмором раз заметил жандармскому офицеру, рывшемуся у него: «И зачем это вам перебирать все книги каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы вы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых». По малейшему подозрению в политической неблагонадежности студента забирали, держали его по году в тюрьме, а потом ссылали куда-нибудь подальше на «неопределенный срок», как выражалось начальство на своем бюрократическом жаргоне. Даже в то время, когда чайковцы занимались только распространением пропущенных цензурой книг, Чайковского дважды арестовывали и продержали в тюрьме по пяти или шести месяцев, причем в последний раз арест произошел в критический для него момент. Только что перед тем появилась его работа по химии в «Бюллетене Академии наук», а сам он готовился сдать последние экзамены на кандидата. В конце концов его выпустили, так как жандармы не могли найти никаких поводов для ссылки его. «Но помните, – сказали ему, – если мы арестуем вас еще раз, вы будете сосланы в Сибирь». Заветной мечтой Александра II действительно было основать где-нибудь в степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда всех подозрительных молодых людей. Лишь опасность, которую представлял бы такой город с населением в двадцать – тридцать тысяч политически «неблагонадежных», помешала царю осуществить его поистине азиатский план.

Один из наших членов, офицер Шишко, принадлежал к группе молодежи, которая стремилась на земскую службу. Она считала эту службу своего рода миссией и усиленно готовилась к ней серьезным изучением хозяйственного положения России. Многие молодые люди некоторое время лелеяли такие надежды, которые рассеялись как туман при первом столкновении с государственной машиной. Правительство дало слабое подобие самоуправления некоторым губерниям и сейчас же путем урезок приняло меры, чтобы реформа потеряла всякое жизненное значение и смысл. Земству пришлось довольствоваться ролью чиновников при сборе дополнительных налогов для покрытия местных государственных нужд. Каждый раз, когда земство брало на себя инициативу в устройстве народных школ и учительских семинарий, в заботах о народном здравии, в земледельческих улучшениях, оно встречало со стороны правительства подозрительность и недоверие, а со стороны «Московских ведомостей» – доносы и обвинения в сепаратизме, в стремлении устроить «государство в государстве», в «подкапывании под самодержавие».

Если бы кто-нибудь вздумал, например, рассказать подлинную историю борьбы тверского губернского земства из-за его учительской семинарии и поведал про все мелкие преследования, придирки и запрещения, никто за границей ему бы не поверил. Читатель отложил бы книгу, говоря: «Слишком уж глупо, чтобы так было на деле». А между тем все так именно и происходило. Немало гласных отрешалось от должности, высылались из губернии, а то и попросту отправлялось в ссылку за то, что они осмеливались подавать царю

верноподданнические прошения о правах, принадлежащих и так уже земствам до закону. «Гласные уездных и губернских земств должны быть простыми министерскими чиновниками и повиноваться Министерству внутренних дел» такова была теория петербургского правительства. Что же касается до народа помельче, состоявшего на земской службе, например, учителей, врачей, акушерок, то их без церемонии, по простому распоряжению Третьего отделения отрешали в двадцать четыре часа от службы и отправляли в ссылку. Не дальше как в 1896 году одна помещица, муж которой занимал видное положение в одном из земств, пригласила на свои именины восемь народных учителей. «Они, бедняги, никого не видят там, кроме мужиков», – сказала про себя барыня. На другой день после бала явился к ней урядник и потребовал список приглашенных учителей для рапорта по начальству. Помещица отказала.

– Ну, хорошо, – сказал урядник, – я сам дознаюсь и отрапортую. Учителя не имеют права собираться вместе. Если они собирались, я обязан донести.

Высокое общественное положение барыни в данном случае спасло учителей, но соберись они у одного из товарищей, к ним нагрянули бы жандармы и половина была бы уволена Министерством народного просвещения. А если бы у кого-нибудь из них сорвалось резкое слово во время нашествия, то его, наверное, отправили бы подальше. Такие дела происходят теперь, через тридцать три года после введения земского положения, но в семидесятых годах было еще хуже. Какую же основу для политической борьбы могли представлять подобные учреждения?

Когда я получил по наследству от отца тамбовское поместье, село Петровское-Кропоткино, я некоторое время серьезно думал поселиться там и посвятить всю свою энергию земской службе. Некоторые крестьяне и бедные священники окрестных деревень просили об этом. Что касается меня, я удовольствовался бы всяким делом, как бы скромно оно ни было, если бы только оно дало мне возможность поднять умственный уровень и благосостояние крестьян. Раз, когда некоторые из тех, которые советовали мне остаться, собрались вместе, я спросил их: «Ну предположим, я попробую открыть школу, заведу образцовую ферму, артельное хозяйство, а вместе с тем заступлюсь вот за такого-то из наших крестьян, волостного судью, которого недавно выпороли в угоду помещику Свечину. Дадут ли мне возможность продолжать?» И все мне ответили единодушно: «Ни за что».

Несколько дней спустя пришел ко мне очень уважаемый в окрестности седой священник с двумя влиятельными раскольничьими наставниками.

– Потолкуйте с ними хорошенько, – сказал он мне. – Если у вас лежит к тому сердце, так вы идите с ними и с Евангелием в руках проповедуйте крестьянам... Вы сами знаете, что проповедовать... Никакая полиция не разыщет вас, если они вас будут скрывать. Ничего другого не поделаешь. Вот какой совет я, старик, могу вам подать.

От этой роли я, конечно, наотрез отказался. Я откровенно сказал им, почему не могу стать новым Виклифом. «Не могу я говорить “от Евангелия”, когда оно для меня такая же книга, как и всякая другая. Ведь для успеха религиозной пропаганды нужна вера, а не могу же я верить в божественность Христа и в веления божьи». – Так я тогда говорил, а теперь из

жизненного опыта прибавлю еще, что если революционная пропаганда во имя религии и захватывает действительно массу людей, которых чистая социалистическая пропаганда не трогает, зато и несет эта религиозная пропаганда с собою такое зло, которое пересиливает добро. Она учит повиновению; она учит подчинению авторитету; а выдвигает она вперед людей прежде всего самовластных, любящих править! И в конце концов неизбежно в силу этого самого она выдвинет церковь, то есть организованную защиту подчинения людей всякой власти. Так всегда было со всеми религиозными движениями, даже когда они начинались таким революционным движением, как перекрещенство (анабаптизм), и с такими анархическими философскими учениями, как учение Декарта. Но старик был прав по-своему. Теперь среди крестьян быстро распространяется движение, подобное религиозному движению лоллардов. Попытки, которым подвергались миролюбивые духоборы, и набеги, совершавшиеся в 1897 году на штундистов, у которых отнимали детей для воспитания их в провинциальных монастырях, придадут движению еще большую силу, чем оно могло проявить двадцать пять лет назад.

Так как во время наших споров в кружке постоянно поднимался вопрос о необходимости агитации в пользу конституции, то я однажды предложил серьезно обсудить это дело и выработать план действий. Я всегда держался того мнения, что, если кружок что-нибудь решает единогласно, каждый должен отложить свое личное чувство и приложить все усилия для общей работы. «Если вы решите вести агитацию в пользу конституции, – говорил я, – то сделаем так: я отделюсь от кружка в видах конспирации и буду поддерживать сношения с ним через кого-нибудь одного, например Чайковского. Через него вы будете сообщать мне о вашей деятельности, а я буду знакомить вас в общих чертах с моею. Я же поведу агитацию в высших придворных и высших служебных сферах. Там у меня много знакомых, и там я знаю немало таких, которые уже недовольны современным порядком. Я постараюсь объединить их вместе и, если удастся, объединю в какую-нибудь организацию. А впоследствии, наверное, выпадет случай двинуть все эти силы с целью заставить Александра II дать России конституцию. Придет время, когда все эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих собственных же интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. Те из нас, которые были офицерами, могли бы вести пропаганду в армии. Но вся эта деятельность должна вестись отдельно от вашей, хотя и параллельно с ней».

Я вносил это предложение, серьезно взвесив его, в январе или феврале 1874 года. Я знал, какие есть у меня связи в дворцовых кругах, на кого я мог бы полагаться, и могу даже прибавить, что некоторые недовольные в придворных сферах смотрели на меня как на лицо, вокруг которого группируется оппозиция.

Кружок не принял этого предложения. Зная отлично друг друга, товарищи, вероятно, решили, что, вступив на этот путь, я не буду верен самому себе. В видах чисто личных я теперь в высшей степени рад, что мое предложение тогда не приняли. Я пошел бы по пути, к которому не лежало мое сердце, и не нашел бы лично счастья, которое встретил, пойдя по другому направлению.

Но шесть или семь лет спустя, когда террористы были всецело поглощены страшной борьбой с Александром II, я пожалел о том, что кто-нибудь другой не занялся в высших петербургских кругах выполнением плана, который я изложил пред кружком. Если бы почва

была подготовлена, то разветвившееся по всей империи движение, быть может, сделало бы то, что тысячи жертв не погибли бы напрасно. Во всяком случае, рядом с подпольной деятельностью Исполнительного комитета обязательно должна была бы вестись параллельная агитация в Зимнем дворце и в верхних слоях общества. Но для этой работы у Исполнительного комитета не было подходящих людей.

Не раз обсуждали мы в нашем кружке необходимость политической борьбы, но не приходили ни к какому результату. Апатия и равнодушие богатых классов были безнадежны, а раздражение среди молодежи еще не достигло того напряжения, которое выразилось шесть или семь лет спустя борьбой террористов под руководством Исполнительного комитета. Мало того, – такова трагическая ирония истории – та самая молодежь, которую Александр II в слепом страхе и ярости отправлял сотнями в ссылку и в каторжные работы, охраняла его в 1871–1878 годы. Самые социалистические программы кружков мешали повторению нового покушения на царя. Лозунгом того времени было: «Подготовьте в России широкое социалистическое движение среди крестьян и рабочих. О царе же и его советниках не хлопчите. Если движение начнется, если крестьяне присоединятся массами и потребуют землю и отмену выкупных платежей, правительство прежде всего попытается опереться на богатые классы и на помещиков и созовет Земский собор. Точно таким же образом крестьянские восстания во Франции в 1789 году принудили королевскую власть созвать Национальное собрание. То же самое будет и в России».

Но это было еще не все. Отдельные личности и кружки, видя, что царствование Александра II фатально все больше и больше погружается в реакционное болото, и питая в то же время смутные надежды на «либерализм» наследника (всех молодых наследников престола подозревают в либерализме), настаивали на необходимости повторить попытку Каракозова. Но организованные кружки упорно были против этого и настойчиво отговаривали товарищей. Теперь я могу обнародовать факт, который до сих пор был неизвестен. Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II. Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так твердо была настроена тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась.

## XV. Видные деятели кружка

«чайковцев». Дружба с Кравчинским.

Его «хождение в народ». Успешная пропаганда среди рабочих

Те два года, что я проработал в кружке Чайковского, навсегда оставили во мне глубокое впечатление. В эти два года моя жизнь была полна лихорадочной деятельности. Я познал тот мощный размах жизни, когда каждую секунду чувствуешь напряженное трепетание всех фибр внутреннего я, тот размах, ради которого одного только и стоит жить. Я находился в семье людей, так тесно сплоченных для общей цели и взаимные отношения которых были проникнуты такой глубокой любовью к человечеству и такой тонкой деликатностью, что не могу припомнить ни одного момента, когда жизнь нашего кружка была бы омрачена хотя бы малейшим недоразумением. Этот факт оценят в особенности те, которым приходилось когда-нибудь вести политическую агитацию.

Прежде чем совершенно оставить ученую деятельность, я считал моею обязанностью закончить для Географического общества отчет о поездке в Финляндию, а также и другие географические работы. Мои новые друзья так и советовали мне. «Нехорошо было бы поступить иначе», – говорили они. Поэтому я засел усердно за работу, чтобы поскорее закончить мои книги по географии и геологии.

Наш кружок собирался часто, и я никогда не пропускал сходок. Мы собирались тогда в предместье Петербурга, в домике, который сняла Софья Перовская, жившая под паспортом жены мастерового.

Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соңю Перовскую мы все любили. С Кувшинской, и с женой Синегуба, и с другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: «А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи».

Перовская, как известно, родилась в аристократической семье. Отец ее одно время был петербургским военным губернатором. С согласия матери, обожавшей дочь, Софья Перовская оставила родной дом и поступила на высшие курсы, а потом с тремя сестрами Корниловыми, дочерьми богатого фабриканта, основала тот маленький кружок саморазвития, из которого впоследствии возник наш. Теперь в повязанной платком мещанке, в ситцевом платье, в мужских сапогах таскавшей воду из Невы, никто не узнал бы барышни, которая недавно блистала в аристократических петербургских салонах. По нравственным воззрениям она была ригористка, но отнюдь не «проповедница». Когда она была недовольна кем-нибудь, то бросала на него строгий взгляд исподлобья, но в нем виделась открытая, великодушная натура, которой все человеческое не было чуждо. Только по одному пункту она была непреклонна. «Бабник», – выпалила она однажды, говоря о ком-то, и выражение, с которым она произнесла это слово, не отрываясь от работы, навеки врезалось в моей памяти.

Говорила Перовская мало, но думала много и сильно. Достаточно посмотреть на ее портрет, на ее высокий лоб и выражение лица, чтобы понять, что ум ее был вдумчивый и серьезный, что поверхностно увлечься было не в ее натуре, что спорить она не станет, а если выскажет свое мнение, то будет отстаивать его, пока не убедится, что переубедить спорящего нельзя.

Перовская была «народницей» до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне: «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо». Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы пред смертью на эшафоте. Каждая из них взглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то время, в этой стадии пропаганды, никто об этом еще не думал. Известный портрет Перовской очень похож на нее. Он хорошо передает ее сознательное мужество, ее открытый, здравый ум и любящую душу. Никогда еще женщина не выразила так всего чувства любящей души, как Перовская в том письме к матери, которое она написала за несколько часов до того, как взойшла на эшафот.

За исключением двух-трех, все женщины нашего кружка сумели бы взглянуть смерти бесстрашно в глаза и умереть, как умерла Перовская. Если бы в 1881 году они не были уже в тюрьмах и в Сибири, они были бы в Исполнительном комитете, и, доведись им взойти на эшафот, взойшли бы бесстрашно. Но в те ранние годы движения никто из них, да и большинство из мужчин не предвидели возможности такого исхода движения. Перовская же, должно быть, с самого начала сказала себе, что, к чему бы ни привела агитация, она нужна, а если она приведет к эшафоту – пусть так: стало быть, это будет нужная жертва.

Следующий случай покажет, каковы были остальные женщины, принадлежащие к нашему кружку. Раз ночью мы с Куприяновым отправились с важным сообщением к Варваре Батюшковой. Было уже далеко за полночь; но так как мы увидели свет в ее окне, то поднялись по лестнице. Батюшкова сидела в маленькой комнатке за столом и переписывала программу нашего кружка 121. Мы знали ее решительность, и нам пришла в голову мысль выкинуть одну из тех глупых шуток, которые люди иногда считают остроумными.

– Батюшкова, мы пришли за вами, – начал я. – Мы хотим сделать почти безумную попытку освободить товарищей из крепости.

Батюшкова не задала ни одного вопроса. Она положила перо, спокойно поднялась и сказала: «Идем!» Она произнесла это так просто, что я сразу понял, как глупа была моя шутка, и признался во всем. Она опять опустилась на стул, и на глазах у ней блеснули слезы. «Так это была только шутка? – переспросила она с упреком. – Как можно этим шутить!» Я вполне понял жестокость моих слов.

Другим общим любимцем нашего кружка был Сергей Кравчинский, хорошо известный в Англии и в Америке под псевдонимом Степняка. Мы иногда называли его младенцем, так мало заботился он о собственной безопасности. Но эта беззаботность являлась результатом бесстрашия, которое в конце концов бывает часто лучшим средством спастись от преследований полиции. Он скоро стал хорошо известен рабочим как пропагандист под именем «Сергей», и поэтому полиция усиленно его разыскивала. Несмотря на это, он не принимал никаких мер предосторожности. Помнится, раз на сходке ему задали большую головомойку за то, что товарищи сочли большой неосторожностью. Сергей, по обыкновению, опоздал на сходку, и, чтобы попасть вовремя, он, одетый мужиком, в полушубке, помчался бегом по середине Литейной.

– Как же можно так делать? – упрекали его. – Ты мог возбудить подозрение, и тебя забрали бы как простого вора!

Но я желал бы, чтобы все были так осторожны, как Сергей, в тех случаях, когда могли быть скомпрометированы другие.

Мы сблизились с ним впервые по поводу книги Стэнли «Как я нашел Ливингстона». Раз наша сходка затянулась до полуночи; когда мы уже собирались расходиться, вошла с книгой одна из Корниловых и спросила, кто из нас возьмется перевести к восьми часам утра шестнадцать страниц английского текста. Я взглянул на размер страниц и сказал, что если кто-нибудь поможет мне, то работу можно сделать за ночь. Вызвался Сергей, и к четырем часам утра печатный лист был переведен. Мы прочитали друг другу наши переводы, причем один следил по английскому тексту. Затем мы опорожнили горшок каши, который оставили для нас на столе, и вместе вышли, чтобы возвратиться домой. С той ночи мы стали близкими друзьями.

Я всегда любил людей, умеющих работать и выполняющих свою работу как следует. Поэтому перевод Сергея и его способность быстро работать уже расположили меня в его пользу. Когда же я узнал его ближе, то сильно полюбил его за честный, открытый характер, за юношескую энергию, за здравый смысл, за выдающийся ум и простоту, за верность, смелость и стойкость. Сергей много читал и много думал, и, оказалось, мы держались одинаковых взглядов на революционный характер начатой нами борьбы. Он был лет на десять моложе меня и, быть может, не вполне еще отдавал себе отчет, какую упорную борьбу вызовет предстоящая революция. Впоследствии он с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. «Раз, – рассказывал он, – идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье».

Некоторое время Сергей жил в Казани, и мне приходилось вести с ним переписку. Он ненавидел шифровку писем, поэтому я предложил ему другой способ переписки, который часто и прежде применялся для конспираторных целей. Вы пишете самое обыкновенное письмо о разных разностях, но в нем следует читать только некоторые слова, например пятое. Так, вы пишете: «Прости, что пишу второпях. Приходи ко мне сегодня вечером. Завтра утром я должен поехать к сестре Лизе. Моему брату Николаю стало хуже. Теперь уже поздно сделать операцию». Читая каждое пятое слово, получается: «Приходи завтра к Николаю поздно».

Очевидно, что при такой переписке приходилось писать письма на шести-семи страницах, чтобы передать одну страницу сообщений. Нужно было, кроме того, изодрать воображение, чтобы выдумать письмо, в которое можно было втиснуть все необходимое. Сергею, от которого невозможно было добиться зашифрованного письма, очень понравился этот способ переписки. Он строчил мне послания, содержавшие целые повести с потрясающими

эпизодами и драматической развязкой. Впоследствии он говорил мне, что эти письма помогли ему развить беллетристический талант. Если у кого есть дарование, то все содействует его развитию.

В январе или феврале 1874 года я жил в Москве в гостях у сестры Леночки. Она жила тогда в маленьком сереньком домике в Москве, в Малом Власьевском переулке, почти напротив дома отца (который отец купил у генерала Пуля). Раз рано утром мне сказали, что меня желает видеть какой-то крестьянин. Я вышел и увидел Сергея, который только что бежал из Тверской губернии. Он был очень силен и ходил по деревням, как пильщик, вместе с другим таким же силачом, отставным офицером Рогачевым. Работа была очень тяжела, в особенности для непривычных рук, но и Рогачев, и Сергей полюбили ее. Никто не узнал бы в здоровых пильщиках двух бывших офицеров. Они ходили таким образом, не возбуждая подозрения, недели две, смело пропагандируя направо и налево. Иногда Сергей, знавший Евангелие почти наизусть, толковал его мужикам и доказывал стихами из него, что следует начать бунт. Иногда он толковал от великих экономистов. Крестьяне слушали пропагандистов как настоящих апостолов, водили их из избы в избу и отказывались брать деньги за харчи. В две недели пропагандисты создали настоящее брожение в нескольких деревнях. Молва про них распространилась широко вокруг. Старые и молодые крестьяне стали шептаться по амбарам про «ходовков» и начали громче говорить, что скоро землю отберут от господ, которых царь возьмет на жалованье. Молодежь стала посмелее по отношению к полиции и говорила: «Подождите, скоро придет наш черед. Не будете вы, иродово племя, верховодить над нами!» Но слава пильщиков дошла и до станового, и их забрали. Отдан был приказ доставить их в стан, находившийся верстах в двадцати.

Повели их под конвоем несколько мужиков. По пути пришлось проходить деревней, где был храмовой праздник.

- Кто такие? Арестанты? Ладно. Валяй к нам, дяденьки, - говорили пировавшие мужики.

Арестантов и стражу задержали на целый день, водя их из избы в избу и угощая брагой. Стражники не заставляли себя упрашивать долго. Они пили и убеждали арестантов тоже пить. «К счастью, - рассказывал Сергей, - брага обходила кругом в таком большом жбане, что никто не мог видеть, сколько я пью, когда я прикладывался к посудине». К вечеру стража перепилась; и так как она не хотела предстать в таком виде перед становым, то решено было заночевать в деревне. Сергей все время беседовал с крестьянами. Он говорил им «от Евангелия» о несправедливых порядках на земле. Они слушали его и жалели, что таких хороших людей ведут в стан. Когда все укладывались спать, один из молодых конвойных шепнул Сергею: «Ворота я притворю только, не запру на запор». Сергей и Рогачев поняли намек. Когда все заснули, они выбрались на улицу и пошли скорым шагом и к пяти часам утра были уже верстах в двадцати пяти от деревни, на полустанке, где с первым поездом отправились в Москву. Сергей тут и остался.

В Москве Сергей приютился у Лебедевых: они были, кажется, знакомы с нашим московским кружком. Тут он встретил Татьяну Лебедеву, которая впоследствии сыграла видную роль в Исполнительном комитете партии «Народной воли», а тогда была молодой девушкой из барской семьи. Вероятно, Сергей имел ее больше всего в виду, когда писал свой

полуавтобиографический роман «Андрей Кожухов». Потом, когда нас всех в Петербурге арестовали, московский кружок, в котором вдохновителями были он и Войнаральский, сделался главным центром агитации.

Говоря о Сергее, я забежал вперед, а теперь возвращаюсь к весне 1872 года, когда я вступил в кружок чайковцев. В это время там и сям пропагандисты селились небольшими группами, под различными видами, в городах, в деревнях. Устраивались кузницы, другие садились на землю, и молодежь из богатых семей работала в этих мастерских или же в поле, чтобы быть в постоянном соприкосновении с трудящимися массами. В Москве несколько бывших цюрихских студенток основали свою собственную организацию и сами поступили на ткацкие фабрики, где работали по четырнадцать – шестнадцать часов в день и вели в общих казармах тяжелую, неприглядную жизнь русских фабричных женщин. То было великое подвижническое движение, в котором по меньшей мере принимало активное участие от двух до трех тысяч человек, причем вдвое или втрое больше этого сочувствовало и всячески помогало боевому авангарду. Наш петербургский кружок регулярно переписывался (конечно, при помощи шифров) с доброй половиной этой армии.

Мы скоро нашли недостаточной легальную литературу, в которой строгая цензура запрещала всякий намек на социализм, и завели за границей собственную типографию. Приходилось, конечно, составлять особые брошюры для рабочих и крестьян, так что у «литературного комитета», членом которого я состоял, работы всегда было много. Сергей написал некоторые из этих брошюр, между прочим «Слово на великий пяток» в духе Ламенэ; в другой же – «Мудрица Наумовна» – он излагал социалистическое учение в форме сказки. Обе брошюры имели большой успех. Книжки и брошюры, отпечатанные за границей, ввозились в Россию контрабандой, тюками, складывались в известных местах, а потом рассылались местным кружкам, которые распространяли уже литературу среди крестьян и рабочих. Для всего этого требовалась громадная организация, частые поездки за границу, обширная переписка. В особенности это нужно было, чтобы охранять наших помощников и книжные склады от полиции. У нас имелись специальные шифры для каждого из провинциальных кружков, и часто после шести или семичасового обсуждения мельчайших подробностей женщины, не доверявшие нашей аккуратности в шифрованной переписке, работали еще ночь напролет, исписывая листы кабалистическими знаками и дробными числами.

Наши заседания отличались всегда сердечным отношением членов друг к другу. Председатель и всякого рода формальности крайне не по сердцу русским, и у нас ничего подобного не было. И хотя наши споры бывали порой очень горячи, в особенности когда обсуждались «программные вопросы», мы всегда отлично обходились без западноевропейских формальностей. Довольно было одной абсолютной искренности, общего желания разрешить дело возможно лучше и нескрываемого отвращения ко всякому проявлению театральности. Если бы кто-нибудь из нас прибег к декламаторским эффектам в речи, мы шутками напомнили бы ему, что цветы красноречия неуместны. Часто нам приходилось обедать на сходках же, и наша еда неизменно состояла из черного хлеба, соленых огурцов, кусочка сыра или колбасы и жидкого чая вволю. Ели мы так не потому, что у нас мало было денег (их у нас всегда было много), но мы считали, что социалисты должны жить так, как живет большинство рабочих. Деньги же, кроме того, нужны были на

революционное дело.

В Петербурге мы скоро завели обширные знакомства среди рабочих. За год до моего вступления в кружок Чайковского Сердюков, юноша, получивший прекрасное образование, завел многих приятелей среди заводских рабочих, большая часть которых работала на казенном оружейном заводе, и устроил кружок человек в тридцать, собиравшийся для чтения и бесед. Заводским недурно платили в Петербурге, и холостые жили не нуждаясь. Они скоро освоились с радикальной и социалистической литературой того времени, и Бокль, Лассаль, Милль, Дрэпер, Шпильгаген стали для них знакомыми именами. По развитию эти заводские мало чем отличались от студентов. Они любили поговорить о «железном законе заработной платы», о классовой борьбе и классовом самосознании, о коллективизме, а также и о свободе – по Миллю, о цивилизации – по Дрэперу. «Капитал» Маркса тогда только что вышел, и мы все его читали, между молодежью тогда еще не было той узости понятий, какая встречается теперь.

Когда Дмитрий, Сергей и я присоединились к чайковцам, мы втроем часто посещали их кружок и вели там беседы на различные темы. Однако наши надежды, что эти молодые люди станут пропагандистами среди остальных работников, положение которых гораздо хуже ихнего, не вполне оправдались. В свободной стране они стали бы обычными ораторами на общественных сходках, но подобно привилегированным женевским часовщикам они относились к простым фабричным с некоторого рода пренебрежением и отнюдь не горели желанием стать мучениками социалистического дела. Только после того, как большинство из них арестовали и некоторых продержали в тюрьме года по три за то, что они дерзнули думать как социалисты, после того лишь, как некоторые измерили всю безграничность российского произвола, они стали горячими пропагандистами главным образом политической революции.

Мои симпатии влекли меня преимущественно к ткачам и к фабричным рабочим вообще. В Петербург сходятся тысячи таких работников, которые на лето возвращаются в свои деревни пахать землю. Эти полукрестьяне-полуфабричные приносят в город мирской дух русской деревни. Революционная пропаганда среди них шла очень успешно. Мы должны были даже удерживать рвение наших новых друзей: иначе они водили бы к нам на квартиры сотни товарищей, стариков и молодежь. Большинство их жило небольшими артелями, в десять – двенадцать человек, на общей квартире и харчевались сообща, причем каждый участник вносил ежемесячно свою долю расходов. На эти-то квартиры мы и отправлялись. Ткачи скоро познакомили нас с другими артелями: каменщиков, плотников и тому подобными, и в некоторых из этих артелей Сергей, Дмитрий, Шишко и другие товарищи были своими людьми; целые ночи толковали они тут про социализм. Во многих частях Петербурга и предместий у нас были особые квартиры, снимаемые товарищами. Туда, особенно к Чарушину и Кувшинской, на Выборгской стороне, и к Синегубу, за Нарвской заставой, каждый вечер приходило человек десять работников, чтобы учиться грамоте и потом побеседовать. Время от времени кто-нибудь из нас отправлялся также на неделю или на две в те деревни, откуда были родом наши приятели, и там пропагандировали почти открыто среди крестьян.

Конечно, все те, которые вели пропаганду среди рабочих, переодевались крестьянами. Пропасть, отделяющая в России «барина» от мужика, так глубока, они так редко приходят в соприкосновение, что появление в деревне человека, одетого «по-господски», возбуждало бы всеобщее внимание. Но даже и в городе полиция немедленно бы насторожилась, если бы заметила среди рабочих человека, непохожего на них по платью и разговору. «Чего ему якшаться с простым народом, если у него нет злого умысла?»

Очень часто после обеда в аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, куда я заходил иногда повидать приятеля, я брал извозчика и спешил на бедную студенческую квартиру в дальнем предместье, где снимал изящное платье, надевал ситцевую рубашу, крестьянские сапоги и полушубок и отправлялся к моим приятелям-ткачам, перешучиваясь по дороге с мужиками. Я рассказывал моим слушателям про рабочее движение за границей, про Интернационал, про Коммуну 1871 года. Они слушали с большим вниманием, стараясь не проронить ни слова, а затем ставили вопрос: «Что мы можем сделать в России?» Мы отвечали: «Следует проповедовать, отбирать лучших людей и организовать их. Другого средства нет». Мы читали им историю Французской революции по переделке из превосходной «Истории крестьянина» Эркмана-Шатриана. Все восторгались «г-м Шовелевым», ходившим по деревням и распространявшим запрещенные книги. Все горели желанием последовать его примеру. «Толкуйте с другими, – говорили мы, – сводите людей между собою, а когда нас станет больше, мы увидим, чего можно добиться». Рабочие вполне понимали нас, и нам приходилось только удерживать их рвение.

Среди них я проводил немало хороших часов. В особенности памятен мне первый день 1874 года, последний Новый год, который я провел в России на свободе. Новый год я встретил в избранном обществе. Говорилось там немало выпренных, благородных слов о гражданских обязанностях, о благе народа и тому подобном. Но во всех этих прочувствованных речах чуялась одна нота. Каждый из гостей, казалось, был в особенности занят мыслью, как бы ему сохранить свое собственное благосостояние. Никто, однако, не смел прямо и открыто признаться, что он готов сделать только то, что не сопряжено ни с какими опасностями для него. Софизмы, бесконечный ряд софизмов насчет медленности эволюции, косности масс, бесполезности жертв высказывались для того только, чтобы скрыть истинные мотивы, вперемежку с уверениями насчет готовности к жертвам... Мною внезапно овладела тоска, и я ушел с этого вечера.

На другое утро я пошел на сходку ткачей. Она происходила в темном подвале. Я был одет крестьянином и затерялся в толпе других полушубков. Товарищ, которого работники знали, представил меня запросто: «Бородин, мой приятель». «Расскажи нам, Бородин, – предложил он, – что ты видел за границей». И я принялся рассказывать о рабочем движении в Западной Европе, о борьбе пролетариата, о трудностях, которые предстоит ему преодолеть, о его надеждах.

На сходке большею частью были люди среднего возраста. Рассказ мой чрезвычайно заинтересовал их, и они задавали мне ряд вопросов, вполне к делу: о мельчайших подробностях рабочих союзов, о целях Интернационала и о шансах его на успех. Затем пошли вопросы, что можно сделать в России, и о последствиях нашей пропаганды. Я никогда не уменьшал опасностей нашей агитации и откровенно сказал, что думал: «Нас,

вероятно, скоро сошлют в Сибирь, а вас, то есть некоторых из вас, продержат долго в тюрьме за то, что вы нас слушали». Мрачная перспектива не охладила и не испугала их. «Что ж, и в Сибири не все, почитай, медведи живут: есть и люди? Где люди живут, там и мы не пропадем». «Не так страшен черт, как его малюют». «Волков бояться – в лес не ходить». «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

И когда потом некоторых из них арестовали, они почти все держались отлично и не выдали никого.

## XVI. Аресты. Клеменц в положении «нелегального». Мой арест. Допрос. Прокурор-лгун. Заключение в Петропавловской крепости

В те два года, о которых я говорю, было произведено много арестов как в Петербурге, так и по всей России. Не проходило месяца без того, чтобы мы недосчитывались кого-либо из нас, или без того, чтобы не забрали еще кого-нибудь из членов провинциальных групп. К концу 1873 года аресты участились. В ноябре полиция нагрянула на одну из наших главных квартир за Нарвской заставой. Мы потеряли Перовскую, Синегуба и двух других товарищей. Все сношения с рабочими в этой части Петербурга пришлось прекратить.

Жандармы стали очень бдительными и сразу замечали появление студента в рабочем квартале. Мы основали новое поселение, еще дальше за городом в рабочем квартале, но и его пришлось скоро оставить. Среди рабочих шныряли шпионы и зорко следили за нами. В наших полушубках, с нашим крестьянским видом Дмитрий, Сергей и я пробирались незамеченными. Мы продолжали посещать кварталы, кишевшие жандармами и шпионами. Но положение Дмитрия и Сергея было очень опасно. Полиция усиленно разыскивала их, так как их имена приобрели широкую известность в рабочих кварталах. Если бы Клеменца или Кравчинского случайно нашли на квартире знакомых, куда полиция явилась бы с обыском, их бы немедленно забрали. Бывали периоды, когда Дмитрию каждый день приходилось разыскивать квартиру, где он сравнительно спокойно мог бы провести ночь.

– Могу я переночевать у вас? – спрашивал он, появляясь у товарища в десятом часу вечера.

– Совсем невозможно! За моей квартирой в последнее время сильно следят. Лучше ступайте к N.

– Да я только что от него. Он говорит, что его дом окружен шпионами.

– Ну ступайте к M. Он мой большой приятель и вне подозрения; но до него далеко. Возьмите извозчика. Вот деньги. – Но из принципа Дмитрий денег не брал и плелся пешком на ночлег

в противоположный конец города, а не то оставался у товарища, к которому ежеминутно могли нагрянуть с обыском.

В январе 1874 года полиция захватила нашу главную цитадель на Выборгской, служившую нам для пропаганды среди ткачей. Некоторые из наших лучших пропагандистов исчезли за таинственными воротами Третьего отделения. Наш кружок поредел. Собраться на общую сходку становилось все труднее. Мы напрягали все усилия, чтобы образовать новые кружки из молодежи, которая могла бы продолжать дело, когда нас арестуют. Чайковский был тогда на юге. Мы убедили или попросту заставили Сергея и Дмитрия уехать из Петербурга. Нас оставалось тогда в Петербурге не больше пяти-шести человек, чтобы продолжать дело нашего кружка. Я же намеревался, как только сделаю доклад Географическому обществу о начатой работе, отправиться на юг, чтобы там создать род земельной лиги – нечто вроде той организации, которая достигла таких грозных размеров в Ирландии в конце семидесятых годов.

Два месяца прошло сравнительно спокойно, но вдруг в середине марта мы узнали, что почти весь кружок заводских рабочих арестован и вместе с ним бывший студент Низовкин, к несчастью, пользовавшийся их доверием.

Мы были уверены, что Низовкин, выгораживая себя, выдаст все, что ему известно. Кроме Дмитрия и Сергея он знал основателя кружка Сердюкова и меня, и мы предвидели, что на допросах он, вероятно, назовет наши настоящие имена. Через несколько дней забрали двух ткачей, крайне ненадежных парней, замотавших даже деньги своих товарищей. Они знали меня под именем Бородина. Эти двое, наверное, должны были направить полицию на след Бородина, одетого по-крестьянски и говорившего на сходках ткачей. Таким образом в одну неделю забрали всех наличных членов нашего кружка, кроме Сердюкова и меня.

Нам не оставалось ничего другого, как только бежать из Петербурга, но именно этого мы не хотели. На наших руках была громадная организация как внутри России, так и за границей для печатания там наших изданий и ввоза контрабандою. Как оставить, не найдя заместителей, всю нашу сеть кружков и колоний в сорока губерниях, которую мы с таким трудом создали в эти годы и с которыми мы вели правильную переписку? Как, наконец, оставить наши рабочие кружки в Петербурге и наши четыре различных центра для пропаганды среди столичных рабочих? Как бросить все это, прежде чем мы найдем людей, которые поддержат наши сношения и переписку?

Мы с Сердюковым решили принять в наш кружок двух новых членов и передать им все дела. Каждый вечер мы встречались в различных частях города и усердно работали. Имен и адресов мы никогда не записывали. Зашифрованы у нас были и сложены в безопасном месте только адреса по перевозке книг. Поэтому нам нужно было, чтобы новые члены заучили сотни адресов и десятков шифров. Мы до тех пор повторяли их нашим новым товарищам, покуда они не зазубрили их. Каждый вечер мы давали им наглядный урок по карте Европейской России, останавливаясь в особенности на западной границе, где жили получавшие переправленные контрабандой книги, и на поволжских губерниях, где находилось большинство наших поселений. Затем, конечно переодевшись, мы водили наших новых товарищей знакомить их с рабочими в разных частях города.

Самое лучшее в таком случае было бы исчезнуть из своей квартиры и появиться в новом месте под чужим именем и с чужим паспортом. Сердюков оставил свою квартиру, но так как у него не было паспорта, то он скрывался у знакомых. Я должен был бы сделать то же самое, но странное обстоятельство задержало меня. Я только что кончил записку о ледниковых отложениях в Финляндии и в России, которую должен был прочесть на общем собрании в Географическом обществе. Приглашения были уже разосланы, но вышло так, что в назначенный день должно было состояться соединенное заседание двух геологических обществ Петербурга, и геологи просили Географическое общество отложить на неделю мой доклад. Было известно, что я выскажу несколько мыслей о распространении ледникового покрова до Средней России, а наши геологи, кроме моего друга и учителя Фридриха Шмидта, считали это предположение слишком смелым и хотели основательно разобрать его. Приходилось, таким образом, остаться еще на неделю.

Между тем таинственные незнакомцы бродили вокруг моего дома и заходили ко мне под различными фантастическими предложениями. Один из них предлагал купить лес в моем тамбовском имении, которое лежало в безлесной степи. К моему удивлению, я увидел на моей улице, на Малой Морской, одного из упомянутых выше арестованных ткачей. Таким образом, я мог убедиться, что за моим домом следят. Между тем я должен был держаться так, как будто не произошло ничего необыкновенного, потому что в следующую пятницу мне предстояло читать доклад в Географическом обществе.

Заседание состоялось. Прения были очень оживленными, и во всяком случае хоть один пункт удалось отвоевать. Наши геологи признали, что все старые теории о делювиальном периоде и разносе валунов по России плавучими льдинами решительно ни на чем не основаны и что весь вопрос следует изучить заново. Я имел удовольствие слышать, как наш выдающийся геолог Барбот де Марни сказал: «Был ли ледяной покров или нет, но мы должны сознаться, господа, что все, что мы до сих пор говорили о действии плавающих льдин, в действительности не подтверждается никакими исследованиями». Мне предложили занять место председателя отделения физической географии, тогда как я сам задавал себе вопрос: «Не проведу ли я эту самую ночь уже в Третьем отделении?»

Мне следовало бы совсем не возвращаться в мою квартиру, но я изнемогал от усталости и вернулся ночевать. В эту ночь жандармы не нагрянули. Я пересмотрел целый ворох моих бумаг, уничтожил все, что могло кого-нибудь скомпрометировать, уложил все вещи и приготовился к отъезду. Я знал, что за моей квартирой следят, но рассчитывал, что полиция явится с визитом только поздно ночью и что поэтому в сумерках, под вечер, мне удастся выбраться незаметно. Стемнело, и когда я собрался уходить, одна из горничных шепнула мне: «Вы бы лучше вышли по черной лестнице». Я понял ее, быстро спустился вниз и выбрался из дома. У ворот стоял только один извозчик. Я вскочил на дрожки, и мы поехали по направлению к Невскому проспекту. Вначале за мною не было погони, и я уже думал, что все обстоит благополучно, но вдруг, уже на Невском, около думы, я заметил другого извозчика, который гнался за мной вскачь и вскоре стал обгонять нас.

К великому изумлению, я увидел на дрожках одного из двух арестованных ткачей, а рядом с ним какого-то неизвестного мне господина. Ткач сделал мне знак рукой, как будто хотел сказать что-то. Я сказал моему извозчику остановиться. «Быть может, – думал я, – его

только что выпустили и у него ко мне важные поручения». Но как только извозчик остановился, господин, сидевший рядом с ткачом (то был шпион), крикнул громко: «Г-н Бородин, князь Кропоткин, я вас арестую. – Он подал сигнал полицейским, которых всегда масса на Невском, прыгнул ко мне в дрожки и показал бумагу с печатью петербургской городской полиции. – У меня приказ пригласить вас немедленно к генерал-губернатору для объяснения», – сказал он. Сопротивление было бесполезно. Два полицейских уже стояли рядом. Я сказал моему извозчику повернуть назад и ехать к генерал-губернатору. Ткач остался на своем извозчике и поехал за нами.

Очевидно, полиция дней десять колебалась арестовать меня, так как не была уверена, что Бородин и я – одно и то же лицо. Мой ответ на призыв ткача разрешил все сомнения.

Случилось так, что как раз тогда, когда я уезжал из дому, приехал из Москвы молодой человек с письмом ко мне от моего приятеля П. И. Войнаральского и к нашему приятелю. Полякову от Дмитрия Клеменца. Войнаральский сообщал о том, что в Москве заведена тайная типография. Вообще в его письме было много отрадных вестей о революционной деятельности в этом городе. Я прочитал письмо и уничтожил его, а так как во втором письме не было ничего, кроме невинной приятельской болтовни, то я захватил его с собою. Теперь, когда меня арестовали, я счел за лучшее уничтожить и это письмо. Я потребовал опять у шпиона его бумагу и, в то время как он доставал ее из кармана, незаметно бросил письмо на мостовую. Но... когда мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, ткач подал злосчастную бумажку сыщику, прибавляя: «Я видел, как они выбросили письмо на мостовую, и поднял его».

Наступили теперь утомительные часы ожидания прокурора. Представитель судебной власти играет, как известно, роль подставного лица в руках жандармов. Они выставляют его, чтобы придать тень законности обыскам и допросу. Прошло немало времени, покуда разыскали прокурора и привезли его, чтобы он фигурировал будто бы в виде представителя законности. Меня опять повезли на мою квартиру, где был произведен самый тщательный обыск, продлившийся до трех часов утра. Жандармы не нашли, однако, ни клочка бумаги, который мог бы явиться уликой против меня или кого-нибудь другого.

После обыска меня доставили в Третье отделение, которое правило и правит под различными именами Россией со времени Николая I вплоть до настоящего времени и составляет истинное государство в государстве. Родоначальником его был, при Петре I, Преображенский приказ, в котором противники основателя военной Русской Империи подвергались жестоким пыткам и бывали замучиваемы до смерти. При императрицах Приказ преобразовался в Тайную канцелярию. А при Анне Иоанновне застенки жестокого Бирона нагонял ужас на всю Россию. Железный деспот Николай I преобразовал канцелярию в Третье отделение и присоединил к нему корпус жандармов, причем шеф жандармов стал лицом более страшным, чем сам император.

Вскоре после того как Мезенцев был убит, при Лорис-Меликове Третье отделение было уничтожено по имени, но, как феникс, оно возродилось и еще более прежнего расцвело под новыми вывесками. В каждой губернии, в каждом городе, даже на каждой железнодорожной станции находятся жандармы, доносящие непосредственно своим

полковникам и генералам, которые сносятся с шефом жандармов. Последний же видит царя каждый день и докладывает ему, что считает нужным доложить. Все чиновники в империи находятся под надзором жандармов. Генералы и полковники этого корпуса следят по обязанности за общественной и частной жизнью всех царских подданных, в том числе губернаторов, министров и даже великих князей. Сам император находится под их бдительным надзором. И так как они хорошо осведомлены о секретных делишках дворца и знают каждый шаг императора, то шеф жандармов становится, так сказать, наперсником правителей России в их наиболее интимных делах.

В тот период царствования Александра II, о котором я говорю, Третье отделение было всесильно. Жандармские полковники производили обыски тысячами, ничуть не заботясь о том, есть ли в России суды и законы или нет. Они арестовывали кого хотели, держали в тюрьме сколько им было угодно, и сотни людей отправлялись в ссылку в Северную Россию или в Сибирь по усмотрению какого-нибудь полковника или генерала. Подпись министра внутренних дел была только пустой формальностью, потому что у него не было контроля над жандармами и он даже не знал, что они делают.

Было уже четыре часа утра, когда начался допрос.

– Вы обвиняетесь, – заявили мне торжественно, – в принадлежности к тайному сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против священной особы его императорского величества. Признаете ли вы себя виновным в этих преступлениях?

– До тех пор, покуда я не буду пред гласным судом, я не дам никакого ответа, – сказал я.

– Запишите, – продиктовал прокурор секретарю, – не признает себя виновным. Я должен вам задать еще некоторые вопросы, – начал он после короткой паузы. Знаете ли вы некоего Николая Чайковского?

– Если вы все-таки желаете задавать мне вопросы на ваших допросах, то так и пишите «нет» на все те, которые вы будете мне задавать.

– Ну, а если мы спросим – знакомы ли вы, например, с г. Поляковым, о котором вы говорили прокурору несколько минут тому назад?

– Если вы зададите мне такой вопрос, то пишите «нет». И если вы спросите меня, знаком ли я с сестрой, братом или мачехой, пишите тоже «нет». Никакого другого ответа вы от меня не получите. Я знаю, что если я отвечу «да» по отношению к какому-нибудь лицу, вы тотчас же учините ему крупную неприятность, нагрянете с обыском или сделаете что-нибудь похуже. А потом скажете ему, что я его выдал.

Мне предложили тогда длинный список вопросов, и каждый раз я спокойно отвечал: «Запишите нет». Так продолжалось около часа. И из допроса я мог убедиться, что все арестованные, кроме двух ткачей, держали себя очень хорошо. Ткачи же знали только, что я два раза встречался с десятком работников. Жандармы, по-видимому, ничего не знали существенного о нашем кружке.

– Что вы делаете, князь? – сказал мне жандармский офицер, который отводил меня в пятом часу утра в мою камеру – Вашим отказом отвечать на вопросы воспользуются как страшным оружием против вас же.

– Разве это не мое право?

– Да, но... вы знаете... Надеюсь, вы найдете комнату удобной. Ее топят с момента вашего ареста.

Я нашел ее очень удобной и немедленно крепко заснул. Разбудил меня через несколько часов жандарм, который принес мне чай. За ним скоро явилось другое лицо, которое шепнуло мне неожиданно: «Вот бумага и карандаш, пишите вашу записку». Это был сочувствующий, которого я знал по имени. Через него велась наша переписка с арестованными в Третьем отделении.

Со всех сторон я слышал легкий стук в стены. То переговаривались условным образом арестованные. Но так как я был новичком, то не мог разобраться в этом стуке, который, казалось, исходил из стен со всех сторон.

Одно смущало меня. Когда производили у меня обыск, я слышал, как прокурор шепнул жандармскому офицеру о том, что они поедут с обыском к Полякову, к которому было адресовано письмо Дмитрия. Поляков был молодой студент, очень талантливый зоолог и ботаник, с которым мы вместе совершили Витимскую экспедицию. Родился он в бедной казачьей семье, на границе Монголии. Преодолев всевозможные затруднения, Поляков добрался до Петербурга и поступил в университет, где стал известен как зоолог, подававший большие надежды. В это время он сдавал кандидатский экзамен. Со времени долгого путешествия мы были большими друзьями и даже одно время жили в Петербурге вместе. Но Поляков не интересовался моею политической деятельностью.

Я заговорил о нем с прокурором. «Даю вам честное слово, – сказал я, – что Поляков никогда не принимал участия ни в каких политических делах. Завтра у него последний экзамен. Вы разрушите навсегда ученую деятельность молодого человека, который боролся много лет и должен был преодолеть большие препятствия, чтобы добиться настоящего положения. Я знаю, до всего этого вам дела нет, но университет смотрит на Полякова как на будущую славу русской науки».

Обыск тем не менее сделали у Полякова, но его не арестовали и дали отсрочку на три дня для экзамена. Несколько дней спустя меня вызвали к прокурору, который с сияющим видом показал мне конверт, написанный моею рукою, а в нем записку, тоже моей рукой, в которой говорилось: «Пожалуйста, передайте этот пакет В. Е. и попросите хранить, покуда его потребуют установленным образом». Лица, к которому записка была адресована, в ней не упоминалось.

– Это письмо найдено у г-на Полякова, – сказал прокурор. – И теперь, князь, его судьба в ваших руках. Если вы мне скажете, кто такой «В.Е.», мы сейчас же освободим г-на Полякова, в противном случае мы его будем держать, покуда он нам не назовет упомянутого лица.

Взглянув на конверт, который был надписан тушевальным карандашом, и на записку, написанную обыкновенным, я немедленно вспомнил все обстоятельства относительно письма и конверта.

– Я положительно утверждаю, – сказал я, – что конверт и записка не найдены вместе. Это вы вложили письмо в конверт. – Прокурор покраснел. – Неужели вы уверите меня, – продолжал я, – что вы, практический человек, не заметили, что записка и конверт написаны разными карандашами? И теперь вы меня хотите уверить, что все это – одно целое? Нет, милостивый государь, я заявляю вам, что письмо было адресовано не к Полякову.

Замешательство прокурора продолжалось несколько секунд; затем он оправился и с прежним апломбом сказал:

– Поляков, однако, сознался, что ваша записка была к нему.

Теперь я знал, что прокурор лжет. Поляков мог бы еще признать все, касающееся его самого, но он скорее пошел бы в Сибирь, чем оговорил бы другого. Я посмотрел пристально в глаза прокурору и ответил:

– Нет, милостивый государь, Поляков никогда не говорил вам ничего подобного. Вы сами отлично знаете, что говорите неправду.

Прокурор пришел в бешенство или притворился так.

– Хорошо, – отрезал он, – если вы подождете здесь несколько минут, я вам принесу письменное показание г-на Полякова. Он в соседней комнате.

– С удовольствием, буду ждать, сколько вам угодно. Я уселся на диване и стал курить бесконечное число папирос. Показание, однако, не явилось ни в этот день, ни позже, и впоследствии каждый раз, при встрече с прокурором, я дразнил его вопросом:

– Ну, а где же показание Полякова?

Само собою разумеется, никакого показания не существовало. Я встретился с Поляковым в Женеве в 1878 году, откуда мы сделали необыкновенно приятную экскурсию к Алечскому леднику. Нечего и прибавлять, что Поляков ответил именно так, как я ожидал. Он сказал, что решительно ничего не знает как о письме, так и о лице, упомянутом под литерами В.Е. Мы обменивались с ним десятками книг, записку нашли в одной из них. Что же касается конверта, то его извлекли из кармана старого пальто. Полякова продержали в заключении несколько недель, а затем выпустили благодаря ходатайству его ученых друзей. Полиция так и не дозналась, кто такое было лицо «В.Е.». Оно в свое время выдало, кому нужно, все мои бумаги.

Меня повели обратно в камеру, а через несколько времени возвратился прокурор в сопровождении жандармского офицера.

– Ваш допрос теперь кончен, – сказал он мне. – Вас переведут в другое место.

У ворот стояла карета. Меня пригласили войти в нее, а рядом сел дюжий жандармский офицер, кавказец родом. Я заговорил с ним, но он только сопел. Карета проехала Цепной мост, Марсово поле, затем покатила вдоль каналов, как будто бы избегая наиболее людные улицы.

– Мы едем в Литовский замок? – спросил я офицера, так как знал, что многие товарищи сидят уже там. Офицер не ответил. С того момента, как я сел в карету, началась та система молчания по отношению ко мне, которая применялась потом целых два года. Но когда карета покатила по Дворцовому мосту, я понял, что меня везут в Петропавловскую крепость.

Я любовался рекой-красавицей, зная, что не скоро увижу ее опять. Солнце близилось к закату. Тяжелые серые тучи нависли на западе над Финским заливом, прямо над головой плыли белые облака, разрываясь порой и открывая клочки голубого неба. Проехав мост, карета повернула налево. Мы въехали под мрачный свод, в ворота крепости.

– Ну, теперь меня продержат здесь годика два, – сказал я офицеру.

– Нет, зачем же так долго! – ответил кавказец, который, раз мы добрались до крепости, снова приобрел дар слова. – Дело ваше почти кончено, и недели через две его передадут в суд.

– Дело мое очень простое, – сказал я, – но прежде, чем вы предадите меня суду, вы захотите арестовать всех социалистов в России, а их много, очень много, и в два года вы всех не переловите. – Я тогда не сознавал, как много пророческого было в этом предсказании.

Карета остановилась у подъезда комендантской квартиры. Мы вошли в приемную. К нам вышел генерал Корсаков, высокий старик с брюзгливым выражением лица. Жандармский офицер шепнул ему что то на ухо, и старик ответил «хорошо», окинув его почти презрительным взглядом; затем он повернулся ко мне. Видно было, что комендант вовсе не был доволен получением нового квартиранта и несколько стыдился своей обязанности, но взгляд его как будто бы говорил: «Я солдат и исполняю только долг». Мы опять сели в карету, но скоро остановились у других ворот; здесь нас продержали некоторое время, покуда солдаты не отперли их изнутри. Всякими длинными, узкими проходами мы подошли наконец к третьим железным воротам; они вели под темный свод, из которого мы попали в небольшую комнату, где тьма и сырость сразу охватили меня.

Несколько унтер-офицеров крепостной стражи забежали неслышно в своих войлочных ботинках, не говоря ни слова, покуда смотритель расписывался в книге кавказца в приеме арестанта. Мне велели раздеться совершенно и надеть арестантское платье: зеленый фланелевый халат, бесконечные шерстяные чулки, плотности невероятной, и желтые туфли такой величины, что они едва держались на ногах, когда я попробовал ступить шаг. Я всегда ненавидел халаты и туфли. Толстые чулки внушали мне отвращение. Меня заставили даже снять шелковую фуфайку, которая особенно была бы кстати в сырой крепости. Я, конечно, шумно запротестовал по этому поводу, и через час мне ее отдали по распоряжению генерала Корсакова.

Затем меня повели темным коридором, по которому шагали часовые, и ввели в одиночную камеру. Захлопнулась тяжелая дубовая дверь, щелкнул ключ в замке, и я остался один в полутемной комнате.

---

Версия #2

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 29 апреля 2025 05:37:12

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 29 апреля 2025 05:41:25